

Владимир
Набоков



CoRpus

Лолита

18+

Annotation

Сорокалетний литератор и рантье, перебравшись из Парижа в Америку, влюбляется в двенадцатилетнюю провинциальную школьницу, стремление обладать которой становится его губительной манией. Принесшая Владимиру Набокову (1899–1977) мировую известность, технически одна из наиболее совершенных его книг – дерзкая, глубокая, остроумная, пронзительная и живая, – «Лолита» (1955) неизменно делит читателей на две категории: восхищенных ценителей яркого искусства и всех прочих.

В середине 60-х годов Набоков создал русскую версию своей любимой книги, внося в нее различные дополнения и уточнения. Русское издание увидело свет в Нью-Йорке в 1967 году. Несмотря на запрет, продлившийся до 1989 года, «Лолита» получила в СССР широкое распространение и оказала значительное влияние на всю последующую русскую литературу.

В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

-
- [Владимир Набоков](#)
 -
 - [От редактора настоящего издания](#)
 -
 - [Предисловие](#)
 - [Часть I](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)

- [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [Конец ознакомительного фрагмента.](#)
 - [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
-

Владимир Набоков

Лолита

Copyright © 1955, 1967 by Vladimir Nabokov
All rights reserved

© А. Бабилов, редакторская заметка, примечания,
2021

© А. Бондаренко, Д. Черногаев, художественное
оформление, макет, 2021

© ООО “Издательство Аст”, 2021
Издательство CORPUS ®

* * *

От редактора настоящего издания

7 апреля 1947 г. Набоков сообщил Эдмунду Уилсону, что пишет «небольшой роман о человеке, любившем маленьких девочек, который будет называться “Королевство у моря”». К лету 1950 г. Набоков расширил свой замысел до романа в двух частях и написал вчерне двенадцать глав первой части. Работа над книгой продолжалась с перерывами до конца 1953 г. Предложив роман нескольким американским издателям и получив отказ, Набоков передал рукопись в парижское издательство «Olympia Press», которое выпустило «Лолиту» в двух томах в сентябре 1955 г.

Американскому изданию предшествовала публикация большого отрывка из романа в журнале «Anchor Review» в январе 1957 г., предпринятая с целью подготовки общественного мнения к выходу «Лолиты» в свет. Вера Набокова писала сыну Дмитрию 23 октября 1956 г.: «Был интересный разговор о “Лолите”, которую все интеллигентные люди признают замечательной и талантливейшей книгой, а только идиоты или хамы принимают за другое. Кусок “Лолиты” будет в хорошем журнале, в Америке; кое-кто собирается писать о ней, а в одном журнале (Хадсон-Ревью) она уже упоминалась с почтением». Книга вышла в издательстве «G. P. Putnam’s Sons» в июле 1958 г. с послесловием Набокова «О книге, озаглавленной “Лолита”».

В 1963–1965 гг. Набоков в сотрудничестве с женой перевел роман на русский язык, написал «Постскрипtum к русскому изданию» и начал готовить публикацию перевода в нью-йоркском издательстве «Phaedra», зная о том, что официально книга не будет допущена в

Советский Союз. В интервью журналу «Life» 18 августа 1964 г. на вопрос «Какие из Ваших сочинений принесли Вам наибольшее удовлетворение?» Набоков ответил так:

Я бы сказал, что из всех моих вещей «Лолита» дольше других продолжает приятно согревать меня своим теплом, – может быть, оттого, что это самая целомудренная, самая умозрительная и наиболее искусная по своему замыслу из всех моих книг. Я, возможно, несу ответственность за то странное обстоятельство, что родители перестали нарекать своих дочерей Лолитами. Мне передавали, что после 1956 года кличку Лолита давали молодым пуделихам, но именем Лолита новорожденных больше не называли. Доброжелатели пытались переводить «Лолиту» на русский язык, но результаты оказались столь плачевными, что мне самому пришлось взяться за перевод. Слово «jeans» в русских словарях толкуется как «широкие короткие брюки» – определение совершенно непригодное^[1].

Русский перевод «Лолиты» вышел в сентябре 1967 г. Несмотря на обилие опечаток и разного рода неисправностей, в 1976 г. Набоков дал согласие издательству «Ардис» перепечатать текст русской «Лолиты» без изменений. Печатается по первому изданию с исправлением замеченных опечаток и сохранением некоторых особенностей орфографии, транслитерации и пунктуации Набокова. Пропущенный при переводе гл. 3 части II фрагмент текста (от слов «Еще одна встряска» и до слов «полное изнеможение») восстановлен в переводе, подготовленном Д. В. Набоковым в 2007 г.

* * *

Посвящается моей жене

Предисловие

«Лолита, Исповедь Светлокожего Вдовца»: таково было двойное название, под которым автор настоящей заметки получил странный текст, возглавляемый ею. Сам «Гумберт Гумберт» умер в тюрьме от закупорки сердечной аорты 16-го ноября 1952 г., за несколько дней до начала судебного разбирательства своего дела. Его защитник, мой родственник и добрый друг Клэрэнс Кларк (в настоящее время адвокат, приписанный к Колумбийскому Окружному Суду), попросил меня проредактировать манускрипт, основываясь на завещании своего клиента, один пункт коего уполномочивал моего почтенного кузена принять по своему усмотрению все меры, относящиеся до подготовки «Лолиты» к печати. На решение г-на Кларка, быть может, повлиял тот факт, что избранный им редактор как раз только что удостоился премии имени Полинга за скромный труд («Можно ли сочувствовать чувствам?»), в котором подвергались обсуждению некоторые патологические состояния и извращения.

Мое задание оказалось проще, чем мы с ним предполагали. Если не считать исправления явных описок да тщательного изъятия некоторых цепких деталей, которые, несмотря на старания самого «Г. Г.», еще уцелели в тексте, как некие вехи и памятники (указатели мест и людей, которых приличие требовало обойти молчанием, а человеколюбие – пощадить), можно считать, что эти примечательные записки представлены в неприкосновенности. Причудливый псевдоним их автора – его собственное измышление; и само собой разумеется, что эта маска – сквозь которую как будто горят два гипнотических глаза –

должна была остаться на месте согласно желанию ее носителя. Меж тем как «Гейз» всего лишь рифмуется с настоящей фамилией героини, ее первое имя слишком тесно вплетается в сокровеннейшую ткань книги, чтобы его можно было заменить; впрочем (как читатель сам убедится), в этом и нет фактической необходимости. Любопытствующие могут найти сведения об убийстве, совершенном «Г. Г.», в газетах за сентябрь – октябрь 1952 г.; его причины и цель продолжали бы оставаться тайной, если бы настоящие мемуары не попали в световой круг моей настольной лампы.

В угоду старомодным читателям, интересующимся дальнейшей судьбой «живых образцов» за горизонтом «правдивой повести», могу привести некоторые указания, полученные от г-на «Виндмюллера» из «Рамздэля», который пожелал остаться неназванным, дабы «длинная тень прискорбной и грязной истории» не дотянулась до того городка, в котором он имеет честь проживать. Его дочь «Луиза» сейчас студентка-второкурсница. «Мона Даль» учится в университете в Париже. «Рита» недавно вышла замуж за хозяина гостиницы во Флориде. Жена «Ричарда Скиллера» умерла от родов, разрешившись мертвой девочкой, 25-го декабря 1952 г., в далеком северо-западном поселении Серой Звезде. Г-жа Вивиан Дамор-Блок (Дамор – по сцене, Блок – по одному из первых мужей) написала биографию бывшего товарища под каламбурным заглавием «Кумир мой», которая скоро должна выйти в свет; критики, уже ознакомившиеся с манускриптом, говорят, что это лучшая ее вещь. Сторожа кладбищ, так или иначе упомянутых в мемуарах «Г. Г.», не сообщают, встает ли кто из могилы.

Для читателя, рассматривающего «Лолиту» просто как роман, ситуации и эмоции, в нем описанные, остались бы раздражительно-неясными, если бы они были обесцвечены при помощи пошлых иносказаний.

Правда, во всем произведении нельзя найти ни одного непристойного выражения; скажу больше: здоровяк-филистер, приученный современной условностью принимать безо всякой брезгливости целую россыпь заборных словечек в самом банальном американском или английском романе, будет весьма шокирован отсутствием оных в «Лолите». Если же, ради успокоения этого парадоксального ханжи, редактор попробовал бы разбавить или исключить те сцены, которые при известном повороте ума могут показаться «соблазнительными» (смотри историческое решение, принятое достопочтенным судьей Джоном Вульси 6-го декабря 1933 г. по поводу другой, значительно более откровенной книги), пришлось бы вообще отказаться от напечатания «Лолиты», ибо именно те сцены, в которых досужий бесстыдник мог бы усмотреть произвольную чувственность, представляют собой на самом деле конструкционно необходимый элемент в развитии трагической повести, неуклонно движущейся к тому, что только и можно назвать моральным апофеозом. Циник скажет, что на то же претендует и профессиональный порнограф; эрудит возразит, что страстная исповедь «Г. Г.» сводится к буре в пробирке, что каждый год не меньше 12 % взрослых американцев мужского пола, по скромному подсчету, – ежели верить д-ру Бианке Шварцман (заимствую из частного сообщения), – проходит через тот особый опыт, который «Г. Г.» описывает с таким отчаянием, и что, пойдя наш безумный мемуарист в то роковое лето 1947 года к компетентному психопатологу, никакой беды бы не случилось. Все это так, – но ведь тогда не было бы этой книги.

Да простится сему комментатору, если он повторит еще раз то, на чем он уже неоднократно настаивал в своих собственных трудах и лекциях, а именно, что «неприличное» бывает зачастую равнозначуще

«необычному». Великое произведение искусства всегда оригинально; оно по самой своей сущности должно потрясать и изумлять, т. е. «шокировать». У меня нет никакого желания прославлять г-на «Г. Г.». Нет сомнения в том, что он отвратителен, что он низок, что он служит ярким примером нравственной проказы, что в нем соединены свирепость и игривость, которые, может быть, и свидетельствуют о глубочайшем страдании, но не придают привлекательности некоторым его излияниям. Его чуждаковатость, конечно, тяжеловата. Многие его случайные отзывы о жителях и природе Америки смешны. Отчаянная честность, которой трепещет его исповедь, отнюдь не освобождает его от ответственности за дьявольскую изощренность. Он ненормален. Он не джентльмен. Но с каким волшебством певучая его скрипка возбуждает в нас нежное сострадание к Лолите, заставляя нас зачитываться книгой, несмотря на испытываемое нами отвращение к автору!

Как описание клинического случая, «Лолите», несомненно, суждено стать одним из классических произведений психиатрической литературы, и можно поручиться, что через десять лет термин «нимфетка» будет в словарях и газетах. Как художественное произведение, «Лолита» далеко выходит за пределы покаянной исповеди; но гораздо более важным, чем ее научное значение и художественная ценность, мы должны признать нравственное ее воздействие на серьезного читателя, ибо этот мучительный анализ единичного случая содержит в себе и общую мораль. Беспорочная девочка, занятая собой мать, задыхающийся от похоти маньяк – все они не только красочные персонажи единственной в своем роде повести; они, кроме того, нас предупреждают об опасных уклонах; они указывают на возможные бедствия. «Лолита» должна бы заставить нас всех –

родителей, социальных работников, педагогов – с
вящей бдительностью и проницательностью предаться
делу воспитания более здорового поколения в более
надежном мире.

Джон Рэй, д-р философии

Видворт, Массачусетс

5 августа 1955 года

Часть I

Лолита, свет моей жизни, огонь моих чресел. Грех мой, душа моя. Ло-ли-та: кончик языка совершает путь в три шажка вниз по небу, чтобы на третьем толкнуться о зубы. Ло. Ли. Та.

Она была Ло, просто Ло, по утрам, ростом в пять футов (без двух вершков и в одном носке). Она была Лола в длинных штанах. Она была Долли в школе. Она была Долорес на пунктире бланков. Но в моих объятьях она была всегда: Лолита.

А предшественницы-то у нее были? Как же – были... Больше скажу: и Лолиты бы не оказалось никакой, если бы я не полюбил в одно далекое лето одну изначальную девочку. В некотором княжестве у моря (почти как у По).

Когда же это было, а?

Приблизительно за столько же лет до рождения Лолиты, сколько мне было в то лето. Можете всегда положиться на убийцу в отношении затейливости прозы.

Уважаемые присяжные женского и мужеского пола! Экспонат Номер Первый представляет собой то, чему так завидовали Эдгаровы серафимы – худо осведомленные, простодушные, благороднокрылые серафимы... Полюбуйтесь-ка на этот клубок терний.

Я родился в 1910-ом году, в Париже. Мой отец отличался мягкостью сердца, легкостью нрава – и целым винегретом из генов: был швейцарский гражданин, полуфранцуз-полуавстриец, с Дунайской прожилкой. Я сейчас раздам несколько прелестных, глянцевиито-голубых открыток.

Ему принадлежала роскошная гостиница на Ривьере. Его отец и оба деда торговали вином, бриллиантами и шелками (распределяйте сами). В тридцать лет он женился на англичанке, дочке альпиниста Джерома Дунна, внучке двух Дорсетских пасторов, экспертов по замысловатым предметам: палеопедологии и Эоловым арфам (распределяйте сами). Обстоятельства и причина смерти моей весьма фотогеничной матери были довольно оригинальные (пикник, молния); мне же было тогда всего три года, и кроме какого-то теплого тупика в темнейшем прошлом у меня ничего от нее не осталось в котловинах и впадинах памяти, за которыми – если вы еще в силах выносить мой слог (пишу под надзором) – садится солнце моего младенчества: всем вам, наверное, знакомы эти благоуханные остатки дня, которые повисают вместе с мошкаррой над какой-нибудь цветущей изгородью и в которые вдруг попадаешь на прогулке, проходишь сквозь них, у подножья холма, в летних сумерках – глухая теплынь, золотистые мошки.

Старшая сестра матери, Сибилла, бывшая замужем за двоюродным братом моего отца – вскоре, впрочем, бросившим ее, – жила у нас в доме в качестве не то бесплатной гувернантки, не то экономки. Впоследствии я слышал, что она была влюблена в моего отца и что однажды, в дождливый денек, он легкомысленно

воспользовался ее чувством – да все позабыл, как только погода прояснилась. Я был чрезвычайно привязан к ней, несмотря на суровость – роковую суровость – некоторых ее правил. Может быть, ей хотелось сделать из меня более добродетельного вдовца, чем отец. У тети Сибиллы были лазоревые, окаймленные розовым глаза и восковой цвет лица. Она писала стихи. Была поэтически суеверна. Говорила, что знает, когда умрет – а именно когда мне исполнится шестнадцать лет, – и так оно и случилось. Ее муж, испытанный вояжер от парфюмерной фирмы, проводил большую часть времени в Америке, где в конце концов основал собственное дело и приобрел кое-какое имущество.

Я рос счастливым, здоровым ребенком в ярком мире книжек с картинками, чистого песка, апельсиновых деревьев, дружелюбных собак, морских далей и улыбающихся лиц. Вокруг меня великолепная гостиница «Мирана Палас» вращалась частной вселенной, выбеленным мелом космосом, посреди другого, голубого, громадного, искрившегося снаружи. От кухонного мужика в переднике до короля в летнем костюме все любили, все баловали меня. Пожилые американки, опираясь на трость, клонились надо мной, как Пизанские башни. Разорившиеся русские княгини не могли заплатить моему отцу, но покупали мне дорогие конфеты. Он же, *mon cher petit papa*, брал меня кататься на лодке и ездить на велосипеде, учил меня плавать, нырять, скользить на водяных лыжах, читал мне «Дон-Кихота» и «Les Misérables», и я обожал и читал его и радовался за него, когда случалось подслушать, как слуги обсуждают его разнообразных любовниц – ласковых красавиц, которые очень много мною занимались, воркуя надо мной и проливая драгоценные слезы над моим вполне веселым безматеринством.

Я учился в английской школе, находившейся в нескольких километрах от дома; там я играл в «ракетс» и «файвс» (ударяя мяч об стену ракеткой или ладонью), получал отличные отметки и прекрасно уживался как с товарищами, так и с наставниками. До тринадцати лет (т. е. до встречи с моей маленькой Аннабеллой) было у меня, насколько помнится, только два переживания определенно полового порядка: торжественный, благопристойный и исключительно теоретический разговор о некоторых неожиданных явлениях отрочества, происходивший в розовом саду школы с американским мальчиком, сыном знаменитой тогда кинематографической актрисы, которую он редко видал в мире трех измерений; и довольно интересный отклик со стороны моего организма на жемчужно-матовые снимки с бесконечно нежными теневыми выемками в пышном альбоме Пишона «La Beauté Humaine», который я тишком однажды извлек из-под груды мрамористых томов лондонского «Graphic» в гостиничной библиотеке. Позднее отец, со свойственным ему благодушием, дал мне сведения этого рода, которые по его мнению могли мне быть нужны; это было осенью 1923-го года, перед моим поступлением в гимназию в Лионе (где мне предстояло провести три зимы); но именно *летом* того года отец мой, увы, отсутствовал – разъезжал по Италии вместе с Mme de R. и ее дочкой – так что мне некому было пожаловаться, не с кем посоветоваться.

Аннабелла была, как и автор, смешанного происхождения: в ее случае – английского и голландского. В настоящее время я помню ее черты куда менее отчетливо, чем помнил их до того, как встретил Лолиту. У зрительной памяти есть два подхода: при одном удается искусно воссоздать образ в лаборатории мозга, не закрывая глаз (и тогда Аннабелла представляется мне в общих терминах, как то: «медового оттенка кожа», «тоненькие руки», «подстриженные русые волосы», «длинные ресницы», «большой яркий рот»); при другом же – закрываешь глаза и мгновенно вызываешь на темной внутренней стороне век объективное, оптическое, предельно верное воспроизведение любимых черт: маленький призрак в естественных цветах (и вот так я вижу Лолиту).

Позвольте мне поэтому в описании Аннабеллы ограничиться чинным замечанием, что это была обаятельная девочка на несколько месяцев моложе меня. Ее родители, по фамилии Ли (Leigh), старые друзья моей тетки, были столь же, как тетя Сибилла, щепетильны в отношении приличий. Они нанимали виллу неподалеку от «Мираны». Этого лысого, бурого господина Ли и толстую, напудренную госпожу Ли (рожденную Ванесса ван Несс) я ненавидел люто. Сначала мы с Аннабеллой разговаривали, так сказать, по окружности. Она то и дело поднимала горсть мелкого пляжного песочка и давала ему сыпаться сквозь пальцы. Мозги у нас были настроены в тон умным европейским подросткам того времени и той среды, и я сомневаюсь, чтобы можно было сыскать какую-либо индивидуальную талантливость в нашем

интересе ко множественности населенных миров, теннисным состязаниям, бесконечности, солипсизму и тому подобным вещам. Нежность и уязвимость молодых зверьков возбуждали в обоих нас то же острое страдание. Она мечтала быть сестрой милосердия в какой-нибудь голодающей азиатской стране; я мечтал быть знаменитым шпионом.

Внезапно мы оказались влюбленными друг в дружку – безумно, неуклюже, бесстыдно, мучительно; я бы добавил – безнадежно, ибо наше неистовое стремление ко взаимному обладанию могло бы быть утолено только, если бы каждый из нас в самом деле впитал и усвоил каждую частицу тела и души другого; между тем мы даже не могли найти места, где бы совокупиться, как без труда находят дети трущоб. После одного неудавшегося ночного свидания у нее в саду (о чем в следующей главке) единственное, что нам было разрешено, в смысле встреч, – это лежать в досягаемости взрослых, зрительной, если не слуховой, на той части пляжа, где было всего больше народу. Там, на мягком песке, в нескольких шагах от старших, мы валялись все утро в оцепенелом исступлении любовной муки и пользовались всяким благословенным изъясном в ткани времени и пространства, чтобы притронуться друг к дружке: ее рука, сквозь песок, подползала ко мне, придвигалась все ближе, переставляя узкие загорелые пальцы, а затем ее перламутровое колено отправлялось в то же длинное, осторожное путешествие; иногда случайный вал, сооруженный другими детьми помоложе, служил нам прикрытием для беглого соленого поцелуя; эти несовершенные соприкосновения доводили наши здоровые и неопытные тела до такой степени раздражения, что даже прохлада голубой воды, под которой мы продолжали преследовать свою цель, не могла нас успокоить.

Среди сокровищ, потерянных мной в годы позднейших скитаний, была снятая моей теткой маленькая фотография, запечатлевшая группу сидящих за столиком тротуарного кафе: Аннабеллу, ее родителей и весьма степенного доктора Купера, хромого старика, который в то лето ухаживал за тетей Сибиллой. Аннабелла вышла не слишком хорошо, так как была схвачена в то мгновение, когда она собралась пригубить свой *chocolat glacé*, и только по худым голым плечам да пробору можно было узнать ее (поскольку помню снимок) среди солнечной мути, в которую постепенно и невозвратно переходила ее красота; я же, сидевший в профиль, несколько поодаль от других, вышел с какой-то драматической рельефностью: угрюмый густобровый мальчик в темной спортивной рубашке и белых хорошо сшитых шортах, положивший ногу на ногу и глядевший в сторону. Фотография была снята в последний день нашего рокового лета, всего за несколько минут до нашей второй и последней попытки обмануть судьбу. Под каким-то крайне прозрачным предлогом (другого шанса не предвиделось, и уже ничто не имело значения) мы удалились из кафе на пляж, где нашли наконец уединенное место, и там, в лиловой тени розовых скал, образовавших нечто вроде пещеры, мы наскоро обменялись жадными ласками, единственным свидетелем коих были оброненные кем-то темные очки. Я стоял на коленях и уже готовился овладеть моей душенькой, как внезапно двое бородатых купальщиков – морской дед и его братец – вышли из воды с возгласами непристойного ободрения, а четыре месяца спустя она умерла от тифа на острове Корфу.

Снова и снова перелистываю эти жалкие воспоминания и все допытываюсь у самого себя, не оттуда ли, не из блеска ли того далекого лета пошла трещина через всю мою жизнь? Или, может быть, острое мое увлечение этим ребенком было лишь первым признаком врожденного извращения? Когда стараюсь разобраться в былых желаниях, намерениях, действиях, я поддаюсь некоему обратному воображению, питающему аналитическую способность возможностями безграничными, так что всякий представляющийся мне прошлый путь делится без конца на развилины в одуряюще сложной перспективе памяти. Я уверен все же, что волшебным и роковым образом Лолита началась с Аннабеллы.

Знаю и то, что смерть Аннабеллы закрепила неудовлетворенность того бредового лета и сделалась препятствием для всякой другой любви в течение холодных лет моей юности. Духовное и телесное сливалось в нашей любви в такой совершенной мере, какая и не снилась нынешним, на все просто смотрящим подросткам с их нехитрыми чувствами и штампованными мозгами. Долго после ее смерти я чувствовал, как ее мысли текут сквозь мои. Задолго до нашей встречи у нас бывали одинаковые сны. Мы сличали вехи. Находили черты странного сходства. В июне одного и того же года (1919-го) к ней в дом и ко мне в дом, в двух несмежных странах, впорхнула чья-то канарейка. О, Лолита, если б ты меня любила *так!*

Я приберег к концу рассказа об Аннабелле описание нашего плачевного первого свидания. Однажды поздно вечером ей удалось обмануть злостную бдительность родителей. В рощице нервных, тонколистых мимоз,

позади виллы, мы нашли себе место на развалинах низкой каменной стены. В темноте, сквозь нежные деревца виднелись арабески освещенных окон виллы – которые теперь, слегка подправленные цветными чернилами чувствительной памяти, я сравнил бы с игральными картами (отчасти может быть потому, что неприятель играл там в бридж). Она вздрагивала и подергивалась, пока я целовал ее в уголок полураскрытых губ и в горячую мочку уха. Россыпь звезд бледно горела над нами промеж силуэтов удлинённых листьев: эта отзывчивая бездна казалась столь же обнаженной, как была она под своим легким платицем. На фоне неба со странной ясностью так выделялось ее лицо, точно от него исходило собственное слабое сияние. Ее ноги, ее прелестные оживленные ноги, были не слишком тесно сжаты, и когда моя рука нашла то, чего искала, выражение какой-то русалочьей мечтательности – не то боль, не то наслаждение – появилось на ее детском лице. Сидя чуть выше меня, она в одинокой своей неге тянулась к моим губам, причем голова ее склонялась сонным, томным движением, которое было почти страдальческим, а ее голые коленки ловили, сжимали мою кисть и снова слабели. Ее дрожащий рот, кривясь от горечи таинственного зелья, с легким придыханием приближался к моему лицу. Она старалась унять боль любви тем, что резко терла свои сухие губы о мои, но вдруг отклонялась с порывистым взмахом кудрей, а затем опять сумрачно льнула и позволяла мне питаться ее раскрытыми устами, меж тем как я, великодушно готовый ей подарить все – мое сердце, горло, внутренности, – давал ей держать в неловком кулачке скипетр моей страсти.

Помню запах какой-то пудры – которую она, кажется, крада у испанской горничной матери – сладковатый, дешевый, мускусный душок; он сливался с

ее собственным бисквитным запахом, и внезапно чаша моих чувств наполнилась до краев; неожиданная суматоха под ближним кустом помешала им перелиться. Мы застыли и с болезненным содроганием в жилах прислушались к шуму, произведенному, вероятно, всего лишь охотившейся кошкой. Но одновременно, увы, со стороны дома раздался голос госпожи Ли, звавший дочь с дико нарастающими перекатами, и доктор Купер тяжело прохромал с веранды в сад. Но эта мимозовая заросль, туман звезд, озноб, огонь, медовая роса и моя мука остались со мной, и эта девочка с наглаженными морем ногами и пламенным языком с той поры преследовала меня неотвязно – покуда наконец, двадцать четыре года спустя, я не рассеял наваждения, воскресив ее в другой.

Дни моей юности, как оглянусь на них, кажутся улетающим от меня бледным вихрем повторных лоскутков, как утренняя мятель употребленных бумажек, видных пассажиру американского экспресса в заднее наблюдательное окно последнего вагона, за которым они выются. В моих гигиенических сношениях с женщинами я был практичен, насмешлив и быстр. В мои университетские годы в Лондоне и Париже я удовлетворялся платными цыпками. Мои занятия науками были прилежны и пристальны, но не очень плодотворны. Сначала я думал стать психиатром, как многие неудачники; но я был неудачником особенным; меня охватила диковинная усталость (надо пойти к доктору – такое томление); и я перешел на изучение английской литературы, которым пробавляется не один поэт-пустоцвет, превратясь в профессора с трубочкой, в пиджаке из добротной шерсти. Париж тридцатых годов пришелся мне впору. Я обсуждал советские фильмы с американскими литераторами. Я сидел с уранистами в кафе «Des Deux Magots». Я печатал извилистые этюды в малочитаемых журналах. Я сочинял пародии – на Элиота, например:

Пускай фрейлейн фон Кульп, еще держась
За скобку двери, обернется... Нет,
Не двинусь ни за нею, ни за Фреской.
Ни за той чайкой...

Одна из моих работ, озаглавленная «Прустовская тема в письме Китса к Бенджамину Бейли», вызвала одобрителные ухмылки у шести-семи ученых,

прочитавших ее. Я пустился писать «Краткую историю английской поэзии» для издателя с большим именем, а затем начал составлять тот учебник французской литературы (со сравнительными примерами из литературы английской) для американских и британских читателей, которому предстояло занимать меня в течение сороковых годов и последний томик которого был почти готов к напечатанию в день моего ареста.

Я нашел службу: преподавал английский язык группе взрослых парижан шестнадцатого округа. Затем в продолжение двух зим был учителем мужской гимназии. Иногда я пользовался знакомствами в среде психиатров и работников по общественному призрению, чтобы с ними посещать разные учреждения, как, например, сиротские приюты и школы для малолетних преступниц, где на бледных, со слипшимися ресницами отроковиц я мог взирать с той полной безнаказанностью, которая нам даруется в сновидениях.

А теперь хочу изложить следующую мысль. В возрастных пределах между девятью и четырнадцатью годами встречаются девочки, которые для некоторых очарованных странников, вдвое или во много раз старше них, обнаруживают истинную свою сущность – сущность не человеческую, а нимфическую (т. е. демонскую); и этих маленьких избранниц я предлагаю именовать так: нимфетки.

Читатель заметит, что пространственные понятия я заменяю понятиями времени. Более того: мне бы хотелось, чтобы он увидел эти пределы, 9-14, как зримые очертания (зеркалистые отмели, алеющие скалы) очарованного острова, на котором водятся эти мои нимфетки и который окружен широким туманным океаном. Спрашивается: в этих возрастных пределах все ли девочки – нимфетки? Разумеется, нет. Иначе мы,

посвященные, мы, одинокие мореходы, мы, нимфолепты, давно бы сошли с ума. Но и красота тоже не служит критерием, между тем как вульгарность (или то хотя бы, что зовется вульгарностью в той или другой среде) не исключает непременно присутствия тех таинственных черт – той сказочно-странной грации, той неуловимой, переменчивой, душеубийственной, вкрадчивой прелести, – которые отличают нимфетку от сверстниц, несравненно более зависящих от пространственного мира единовременных явлений, чем от невесомого острова замороженного времени, где Лолита играет с ей подобными. Внутри тех же возрастных границ число настоящих нимфеток гораздо меньше числа некрасивых, или просто «миленьких», или даже «смазливых», но вполне заурядных, пухленьких, мешковатых, холоднокожих, человеческих по природе своей девочек, с круглыми животиками, с косичками, таких, которые могут или не могут потом превратиться в красивых, как говорится, женщин (посмотрите-ка на иную гадкую пышечку в черных чулках и белой шляпке, перевоплощающуюся в дивную звезду экрана). Если попросить нормального человека отметить самую хорошенькую на групповом снимке школьниц или герлскаутов, он не всегда ткнет в нимфетку. Надобно быть художником и сумасшедшим, игралищем бесконечных скорбей, с пузырьком горячего яда в корне тела и сверхсладоострастным пламенем, вечно пылающим в чутком хребте (о, как приходится нам ежиться и хорониться!), дабы узнать сразу, по неизъяснимым приметам – по слегка кошаьему очерку скул, по тонкости и шелковистости членов и еще по другим признакам, перечислить которые мне запрещают отчаяние, стыд, слезы нежности – маленького смертоносного демона в толпе обыкновенных детей: она-то, нимфетка, стоит среди них неузнанная и сама не чующая своей баснословной власти.

И еще: ввиду примата времени в этом колдовском деле, научный работник должен быть готов принять во внимание, что необходима разница в несколько лет (я бы сказал, не менее десяти, но обычно в тридцать или сорок – и до девяноста в немногих известных случаях) между девочкой и мужчиной для того, чтобы тот мог подпасть под чары нимфетки. Тут вопрос приспособления хрусталика, вопрос некоторого расстояния, которое внутренний глаз с приятным волнением преодолевает, и вопрос некоторого контраста, который разум постигает с судорогой порочной улады. «Когда я был ребенком и она ребенком была» (всё Эдгаровый перегар), моя Аннабелла не была для меня нимфеткой: я был ей ровня; задним числом я сам был фавненком на том же очарованном острове времени; но нынче, в сентябре 1952-го года, по истечении двадцати девяти лет, мне думается, что я могу разглядеть в ней исходное роковое наваждение. Мы любили преждевременной любовью, отличавшейся тем неистовством, которое так часто разбивает жизнь зрелых людей. Я был крепкий паренек и выжил; но отравы осталась в ране, и вот я уже мужал в лоне нашей цивилизации, которая позволяет мужчине увлекаться девушкой шестнадцатилетней, но не девочкой двенадцатилетней.

Итак, немудрено, что моя взрослая жизнь в Европе была чудовищно двойственна. Вовне я имел так называемые нормальные сношения с земнородными женщинами, у которых груди тыквами или грушами, внутри же я был сжигаем в адской печи сосредоточенной похоти, возбуждаемой во мне каждой встречной нимфеткой, к которой я, будучи законоуважающим трусом, не смел подступить. Громоздкие человечьи самки, которыми мне дозволялось пользоваться, служили лишь паллиативом. Я готов поверить, что ощущения, мною извлекаемые из

естественного соития, равнялись более или менее тем, которые испытывают нормальные большие мужчины, общаясь с нормальными большими женщинами в том рутинном ритме, который сотрясает мир; но беда в том, что этим господам не довелось, как довелось мне, познать проблеск несравненно более пронзительного блаженства. Тусклый из моих к поллюции ведущих снов был в тысячу раз красочнее прелюбодеяний, которые мужественнейший гений или талантливейший импотент могли бы вообразить. Мой мир был расщеплен. Я чуял присутствие не одного, а двух полов, из коих ни тот ни другой не был моим; оба были женскими для анатома; для меня же, смотревшего сквозь особую призму чувств, «они были столь же различны между собой, как мечта и мачта». Все это я теперь рационализирую, но в двадцать – двадцать пять лет я не так ясно разбирался в своих страданиях. Тело отлично знало, чего оно жаждет, но мой рассудок отклонял каждую его мольбу. Мной овладевали то страх и стыд, то безрассудный оптимизм. Меня душили общественные запреты. Психологи манили меня псевдоосвобождением от либидобелиберды. То, что единственными объектами любовного трепета были для меня сестры Аннабеллы, ее наперсницы и кордебалет, мне казалось подчас предзнаменованием умопомешательства. Иногда же я говорил себе, что все зависит от точки зрения и что, в сущности, ничего нет дурного в том, что меня до одури волнуют малолетние девочки. Позволю себе напомнить читателю, что в Англии, с тех пор как был принят закон (в 1933-ем году) «О Детях и Молодых Особах», термин «герл-чайльд» (т. е. девочка) определяется как «лицо женского пола, имеющее от роду свыше восьми и меньше четырнадцати лет» (после чего, от четырнадцати до семнадцати, статут определяет это лицо как «молодую особу»). С другой стороны, в Америке, а именно в

Массачусетсе, термин «уэйуард чайльд» (непутевое дитя) относится технически к девочке между семью и семнадцатью годами, которая «общается с порочными и безнравственными лицами». Хью Броутон, полемический писатель времен Джемса Первого, доказал, что Рахаб была блудницей в десять лет. Все это крайне интересно, и я допускаю, что вы уже видите, как у меня пенится рот перед припадком – но нет, ничего не пенится, я просто пускаю выщелком разноцветные блошки счастливых мыслей в соответствующую чашечку. Вот еще картинки. Вот Виргилий, который (цитирую старого английского поэта) «нимфетку в тоне пел одном», хотя по всей вероятности предпочитал перитон мальчика. Вот две из еще не созревших дочек короля Ахнатена^[2] и его королевы Нефертити, у которых было шесть таких – нильских, бритоголовых, голеньких (ничего, кроме множества рядов бус), с мягкими коричневыми щенячьими брюшками, с длинными эбеновыми глазами, спокойно расположившиеся на подушках и совершенно целые после трех тысяч лет. Вот ряд десятилетних невест, которых принуждают сесть на фасциний – кол из слоновой кости в храмах классического образования. Брак и сожителство с детьми встречаются еще довольно часто в некоторых областях Индии. Так, восьмидесятилетние старики-лепчанцы сочетаются с восьмилетними девочками, и кому какое дело. В конце концов, Данте безумно влюбился в свою Беатриче, когда минуло только девять лет ей, такой искрящейся, крашеной, прелестной, в пунцовом платье с дорогими камнями, а было это в 1274-ом году, во Флоренции, на частном пиру, в веселом мае месяце. Когда же Петрарка безумно влюбился в свою Лаурину, она была белокурой нимфеткой двенадцати лет, бежавшей на ветру, сквозь пыль и цветень, сама как летящий цветок,

среди прекрасной равнины, видимой с Воклюзских холмов.

Но давайте будем чопорными и культурными. Гумберт Гумберт усердно старался быть хорошим. Ей-богу, старался. Он относился крайне бережно к обыкновенным детям, к их чистоте, открытой обидам, и ни при каких обстоятельствах не посягнул бы на невинность ребенка, если была хотя бы отдаленнейшая возможность скандала. Но как билось у бедняги сердце, когда среди невинной детской толпы он замечал ребенка-демона, «*enfant charmante et fourbe*» – глаза с поволокой, яркие губы, десять лет каторги, коли покажешь ей, что глядишь на нее. Так шла жизнь. Гумберт был вполне способен иметь сношения с Евой, но Лилит была той, о ком он мечтал. Почкообразная стадия в развитии груди рано (в 10 7/10 лет) наступает в череде соматических изменений, сопровождающих приближение половой зрелости. А следующий известный нам признак – это первое появление (в 11 2/10 лет) пигментированных волосков. Моя чашечка полным-полна блошек.

Кораблекрушение. Коралловый остров. Я один с озябшей дочкой утонувшего пассажира. Душенька, ведь это только игра! Какие чудесные приключения я, бывало, воображал, сидя на твердой скамье в городском парке и притворяясь погруженным в мреющую книгу. Вокруг мирного эрудита свободно резвились нимфетки, как если бы он был приглядевшейся парковой статуей или частью светотени под старым деревом. Как-то раз совершенная красotka в шотландской юбочке с грохотом поставила тяжеловооруженную ногу подле меня на скамейку, дабы окунуть в меня свои голые руки и затянуть ремень роликового конька – и я растворился в солнечных пятнах, заменяя книжкой фиговый лист, между тем как ее русые локоны падали ей на поцарапанное колено, и

древесная тень, которую я с нею делил, пульсировала и таяла на ее икре, сиявшей так близко от моей хамелеоновой щеки. Другой раз рыжеволосая школьница повисла надо мною в вагоне метро, и оранжевый пушок у нее под мышкой был откровением, оставшимся на много недель у меня в крови. Я бы мог пересказать немало такого рода односторонних миниатюрных романов. Окончание некоторых из них бывало приправлено адовым снадобием. Бывало, например, я замечал с балкона, ночью, в освещенном окне через улицу, нимфетку, раздевающуюся перед услужливым зеркалом. В этой обособленности, в этом отдалении видение приобретало невероятно пряную прелесть, которая заставляла меня, балконного зрителя, нестись во весь опор к своему одинокому утолению. Но с бесовской внезапностью нежный узор наготы, уже принявший от меня дар поклонения, превращался в озаренный лампой отвратительно голый локоть мужчины в исподнем белье, читающего газету у отворенного окна в жаркой, влажной, безнадежной летней ночи.

Скакание через веревочку. Скакание на одной ноге по размеченной мелом панели. Незабвенная старуха в черном, которая сидела рядом со мной на парковой скамье, на пыточной скамье моего блаженства (нимфетка подо мной старалась нащупать укатившийся стеклянный шарик), и которая спросила меня – наглая ведьма, – не болит ли у меня живот. Ах, оставьте меня в моем зацветающем парке, в моем мшистом саду. Пусть играют они вокруг меня вечно, никогда не взрослея.

Кстати: я часто спрашивал себя, что случилось с ними потом, с этими нимфетками. В нашем чугунно-решетчатом мире причин и следствий не могло ли содрогание, мною выкраденное у них, отразиться на их будущем? Вот, была моей – и никогда не узнает. Хорошо. Но не скажется ли это впоследствии, не испортил ли я ей как-нибудь в ее дальнейшей судьбе тем, что вовлек ее образ в свое тайное сладострастие? О, это было и будет предметом великих и ужасных сомнений!

Я выяснил, однако, во что они превращаются, эти обаятельные, сумасводящие нимфетки, когда подрастают. Помнится, брел я как-то под вечер по оживленной улице, весною, в центре Парижа. Тоненькая девушка небольшого роста прошла мимо меня скорым тропотком на высоких каблучках; мы одновременно оглянулись; она остановилась, и я подошел к ней. Голова ее едва доходила до моей нагрудной шерсти; личико было круглое, с ямочками, какое часто встречается у молодых француженок. Мне понравились ее длинные ресницы и жемчужно-серый *tailleur*, облегавший ее юное тело, которое еще хранило (вот это-то и было нимфическим эхом, холодком наслаждения, взывом в чреслах) что-то детское, примешивавшееся к профессиональному *frétillement* ее маленького ловкого зада. Я осведомился о ее цене, и она немедленно ответила с музыкальной серебряной точностью (птица – сущая птица!): «Cent». Я попробовал поторговаться, но она оценила дикое глухое желание у меня в глазах, устремленных с такой высоты на ее круглый лобик и зачаточную шляпу (букетик да бант): «Tant pis», произнесла она, перемигнув, и сделала вид,

что уходит. Я подумал: ведь всего три года тому назад я мог видеть, как она возвращается домой из школы! Эта картина решила дело. Она повела меня вверх по обычной крутой лестнице с обычным сигналом звонка, уведомляющим господина, не желающего встретить другого господина, что путь свободен или несвободен – унылый путь к гнусной комнатке, состоящей из кровати и биде. Как обычно, она прежде всего потребовала свой *petit cadeau*, и, как обычно, я спросил ее имя (*Monique*) и возраст (восемнадцать). Я был отлично знаком с банальными ухватками проституток: ото всех них слышишь это *dixhuit* – четкое чирикание с ноткой мечтательного обмана, которое они издают, бедняжки, до десяти раз в сутки. Но в данном случае было ясно, что Моника скорее прибавляет, чем убавляет себе годика два. Это я вывел из многих подробностей ее компактного, как бы точеного и до странности неразвитого тела. Поразительно быстро раздевшись, она постояла с минуту у окна, наполовину завернувшись в мутную кисею занавески, слушая с детским удовольствием (что в книге было бы халтурой) шарманщика, игравшего в уже налитом сумерками дворе. Когда я осмотрел ее ручки и обратил ее внимание на грязные ногти, она проговорила, простодушно нахмурясь: «*Oui, se n'est pas bien*», – и пошла было к рукомойнику, но я сказал, что это неважно, совершенно неважно. Со своими подстриженными темными волосами, светло-серым взглядом и бледной кожей она была исключительно очаровательна. Бедра у нее были не шире, чем у присевшего на корточки мальчика. Более того, я без колебания могу утверждать (и вот, собственно, почему я так благодарно длю это пребывание с маленькой Моникой в кисейно-серой келье воспоминания), что из тех восьмидесяти или девяноста шлюх, которые в разное время по моей просьбе мною занимались, она

была единственной, давшей мне укол истинного наслаждения. «Il était malin, celui qui a inventé ce truc-là», любезно заметила она и вернулась в одетое состояние с той же высокого стиля быстротой, с которой из него вышла.

Я спросил, не даст ли она мне еще одно, более основательное, свидание в тот же вечер, и она обещала встретить меня около углового кафе, прибавив, что в течение всей своей маленькой жизни никогда еще никого не надула. Мы возвратились в ту же комнату. Я не мог удержаться, чтобы не сказать ей, какая она хорошенькая, на что она ответила скромно: «Tu es bien gentil de dire ça», – а потом, заметив то, что я заметил сам в зеркале, отражавшем наш тесный Эдем, а именно: ужасную гримасу нежности, искривившую мне рот, исполнительная Моника (о, она несомненно была в свое время нимфеткой!) захотела узнать, не стереть ли ей, avant qu'on se couche, слой краски с губ на случай, если захочу поцеловать ее. Конечно, захочу. С нею я дал себе волю в большей степени, чем с какой-либо другой молодой гетерой, и в ту ночь мое последнее впечатление от Моника и ее длинных ресниц отзывает чем-то веселым, чего нет в других воспоминаниях, связанных с моей унижительной, убогой и угрюмой половой жизнью. Вид у нее был необыкновенно довольный, когда я дал ей пятьдесят франков сверх уговора, после чего она засеменила в ночную апрельскую морось с тяжелым Гумбертом, валившим следом за ее узкой спиной. Остановившись перед витриной, она произнесла с большим смаком: «Je vais m'acheter des bas!» – и не дай мне бог когда-либо забыть маленький лопающийся звук детских губ этой парижаночки на слове «bas», произнесенном ею так сочно, что «а» чуть не превратилось в краткое бойкое «о».

Следующее наше свидание состоялось на другой день, в два пятнадцать пополудни у меня на квартире, но оно оказалось менее удовлетворительным: за ночь она как бы повзрослела, перешла в старший класс, и к тому же была сильно простужена. Заразившись от нее насморком, я отменил четвертую встречу – да, впрочем, и рад был прервать рост чувства, угрожавшего обременить меня душераздирающими грезами и вялым разочарованием. Так пускай же она останется гладкой тонкой Моникой – такой, какою она была в продолжение тех двух-трех минут, когда беспризорная нимфетка просвечивала сквозь деловитую молодую проститутку.

Мое недолгое с нею знакомство навело меня на ряд мыслей, которые, верно, покажутся довольно очевидными читателю, знающему толк в этих делах. По объявлению в непристойном журнальчике я очутился, в один предприимчивый день, в конторе некоей Mlle Edith, которая начала с того, что предложила мне выбрать себе спутницу жизни из собрания довольно формальных фотографий в довольно засаленном альбоме («Regardez-moi cette belle brune?» – уже в подвенечном платье). Когда же я оттолкнул альбом и неловко, с усилием, высказал свою преступную мечту, она посмотрела на меня, будто собираясь меня прогнать. Однако, поинтересовавшись, сколько я готов выложить, она соизволила обещать познакомить меня с лицом, которое «могло бы устроить дело». На другой день астматическая женщина, размалеванная, говорливая, пропитанная чесноком, с почти фарсовым провансальским выговором и черными усами над лиловой губой, повела меня в свое собственное, по-видимому, обиталище и там, предварительно наделив звучным лобзанием собранные пучком кончики толстых пальцев, дабы подчеркнуть качество своего лакомого, как розанчик, товара, театрально отпахнула занавеску, за которой обнаружилась половина, служившая по всем

признакам спальни большому и нетребовательному семейству; но на сцене сейчас никого не было, кроме чудовищно упитанной, смуглой, отталкивающе некрасивой девушки, лет по крайней мере пятнадцати, с малиновыми лентами в тяжелых черных косах, которая сидела на стуле и нарочито нянчила лысую куклу. Когда я отрицательно покачал головой и попытался выбраться из ловушки, сводня, учащенно лопоча, начала стягивать грязно-серую фуфайку с бюста молодой великанши, а затем, убедившись в моем решении уйти, потребовала «son argent». Дверь в глубине комнаты отворилась, и двое мужчин, выйдя из кухни, где они обедали, присоединились к спору. Были они какого-то кривого сложения, с голыми шеями, чернявые; один из них был в темных очках. Маленький мальчик и замызганный, колченогий младенец замаячили где-то за ними. С наглой логичностью, присущей кошмарам, разъяренная сводня, указав на мужчину в очках, заявила, что он прежде служил в полиции – так что лучше, мол, раскошелиться. Я подошел к Марии (ибо таково было ее звездное имя), которая к тому времени преспокойно переправила свои грузные ляжки со стула в спальне на табурет за кухонным столом, чтобы там снова приняться за суп, а младенец между тем поднял с полу ему принадлежавшую куклу. В порыве жалости, сообщавшей некий драматизм моему идиотскому жесту, я сунул деньги в ее равнодушную руку. Она сдала мой дар экс-сыщику, и мне было разрешено удалиться.

Я не знаю, был ли альбом свахи добавочным звеном в ромашковой гирлянде судьбы, но, как бы то ни было, вскоре после этого я решил жениться. Мне пришло в голову, что ровная жизнь, домашний стол, все условности брачного быта, профилактическая однообразность постельной деятельности и – как знать – будущий рост некоторых нравственных ценностей, некоторых чисто духовных эрзацев, могли бы помочь мне – если не отделаться от порочных и опасных позывов, то по крайней мере мирно с ними справляться. Небольшое имущество, доставшееся мне после кончины отца (ничего особенного – «Мирану» он давно продал), в придачу к моей поразительной, хоть и несколько брутальной мужской красоте, позволило мне со спокойной уверенностью пуститься на соответствующие поиски. Хорошенько осмотревшись, я остановил свой выбор на дочери польского доктора: добряк лечил меня от сердечных перебоев и припадков головокружения. Иногда мы с ним играли в шахматы; его дочь смотрела на меня из-за мольберта и мной одолженные ей глаза или костяшки рук вставляла в ту кубистическую чепуху, которую тогдашние образованные барышни писали вместо персиков и овечек. Позволю себе повторить, тихо, но внушительно: я был и еще остался, невзирая на свои бедствия, исключительным красавцем, со сдержанными движениями, с мягкими темными волосами и как бы пасмурной, но тем более привлекательной осанкой большого тела. При такой мужественности часто случается, что в удобопоказуемых чертах субъекта отражается что-то хмурое и воспаленное, относящееся до того, что ему приходится скрывать. Так было и со мной. Увы, я

отлично знал, что мне стоит только прищелкнуть пальцами, чтобы получить любую взрослую особу, избранную мной; я даже привык оказывать женщинам не слишком много внимания, боясь именно того, что та или другая плюхнется, как налитой соком плод, ко мне на холодное лоно. Если бы я был, что называется, «средним французом», охочим до разряженных дам, я легко бы нашел между обезумелыми красавицами, плескавшими в мою угрюмую скалу, существо значительно более пленительное, чем моя Валерия. Но в этом выборе я руководился соображениями, которые, по существу, сводились – как я слишком поздно понял – к жалкому компромиссу. И все это только показывает, как ужасно глуп был бедный Гумберт в любовных делах.

Хоть я говорил себе, что мне всего лишь нужно сублимированное *rot-au-feu* и живые ножны, однако то, что мне нравилось в Валерии – это была ее имперсонация маленькой девочки. Она прикидывалась малюткой не потому, чтобы раскусила мою тайну: таков был просто ее собственный стиль – и я попался. На самом деле этой девочке было по крайней мере под тридцать (никогда я не мог установить ее точный возраст, ибо даже ее паспорт лгал), и она давно уже рассталась со своей девственностью при обстоятельствах, менявшихся по настроению ее памяти. Я же, со своей стороны, был наивен, как только может быть наивен человек с сексуальным изъясом. Она казалась какой-то пушистой и резвой, одевалась *à la gamine*, щедро показывала гладкие ноги, умела подчеркнуть белизну подъема ступни черным бархатом туфельки, и надувала губки, и переливалась ямочками, и кружилась в тирольской юбке, и встряхивала короткими белокурыми волосами самым что ни на есть трафаретным образом.

После краткого обряда в ратуше я привез ее на новую квартиру и несколько удивил ее тем, что до начала каких-либо нежностей заставил ее переодеться в простую детскую ночную сорочку, которую мне удалось украсть из платяного шкафа в сиротском доме. Брачная ночь выдалась довольно забавная, и моими стараниями дура моя к утру была в истерике. Но действительность скоро взяла верх. Обелокуранный локон выявил свой чернявый корешок; пушок превратился в колючки на бритой голени; подвижный влажный рот, как я его ни набивал любовью, обнаружил свое мизерное сходство с соответствующей частью на

заветном портрете ее жабоподобной покойной матушки; и вскоре, вместо бледного уличного подростка, у Гумберта Гумберта оказалась на руках большая, дебелая, коротконогая, грудастая и совершенно безмозглая баба.

Это положение длилось с 1935-го года по 1939-ый. Единственным достоинством Валерии была кротость, и как ни странно, от этого было уютно в нашей убогой квартирке: две комнатки, дымный вид в одном окне, кирпичная стена в другом, крохотная кухня, башмачной формы ванна, в которой я чувствовал себя Маратом, даром что не было белошеей девочки, чтобы меня заколоть. Мы провели с женой немало безмятежных вечеров, она – углубившись в свой «Paris Soir», я – работая за валким столиком. Мы посещали кино, велодром, боксовые состязания. К ее пресной плоти я обращался лишь изредка, только в минуты крайней нужды, крайнего отчаяния. У бакалейщика по ту сторону улицы была маленькая дочка, тень которой сводила меня с ума; впрочем, с помощью Валерии, я все же находил некоторые законные исходы из моей фантастической беды. Что же касается домашнего стола, то мы без слов отставили *pot-au-feu* и питались главным образом в узком ресторанчике с одним длинным столом, на *rue Bonaparte*, где общая скатерть была в винных пятнах и преобладал иностранный говор. А в доме рядом антиквар выставил в загроможденной витрине великолепный, цветистый – зеленый, красный, золотой и чернильно-синий – старинный американский эстамп, на котором был паровоз с гигантской трубой, большими причудливыми фонарями и огромным скотосбрасывателем, увлекающий свои фиолетовые вагоны в грозовую степную ночь и примешивающий обильный, черный, искрами поблескивающий дым к косматым ее тучам.

В них что-то блеснуло. Летом 1939-го года умер мой американский дядюшка, оставив мне ежегодный доход в несколько тысяч долларов с условием, что перееду в Соединенные Штаты и займусь делами его фирмы. Эта перспектива пришлась мне чрезвычайно по сердцу. Я чувствовал, что моя жизнь нуждается в встряске. И было еще кое-что: молевые проединки появились в плюше супружеского уюта. Последнее время я замечал, что моя толстая Валерия как-то изменилась – выказывает странное беспокойство, иногда даже нечто вроде раздражения, а это шло вразрез с установленным характером персонажа, которого ей полагалось у меня играть. Когда я ее уведомил, что мы скоро поплывем в Нью-Йорк, она приуныла и задумалась. Была докучная возня с ее документами. У нее оказался дурацкий Нансенский паспорт, и получению визы почему-то никак не способствовало швейцарское гражданство мужа. Я объяснял необходимостью стояния в хвостах в префектуре и всякими другими неприятностями ее вялое и неотзывчивое настроение, на которое никак не действовали мои описания Америки, страны розовых детей и громадных деревьев, где жизнь будет настолько лучше, чем в скучном, сером Париже.

Однажды утром (ее бумаги были уже почти приведены в порядок) мы выходили из какого-то официального здания, как вдруг вижу, что переваливающаяся со мной рядом Валерия начинает энергично и безмолвно трясти своей болоночной головой. Сначала я на это не обращал никакого внимания, но затем спросил, почему ей, собственно, кажется, что там внутри что-то есть? Она ответила (перевожу с ее французского перевода какой-то славянской плоскости): «В моей жизни есть другой человек».

Незачем говорить, что мужу не могут особенно понравиться такие слова. Меня, признаюсь, они

ошеломили. Прибить ее тут же на улице – как поступил бы честный мещанин – было нельзя. Годы затаенных страданий меня научили самообладанию сверхчеловеческому. Итак, я поскорее сел с ней в таксомотор, который уже некоторое время пригласительно полз вдоль панели, и в этом сравнительном уединении спокойно предложил ей объяснить свои дикие слова. Меня душило растущее бешенство – о, не потому чтоб я испытывал какие-либо нежные чувства к балаганной фигуре, именуемой мадам Гумберт, но потому что никому, кроме меня, не полагалось разрешать проблемы законных и незаконных совокуплений, а тут Валерия, моя фарсовая супруга, нахально собралась располагать по своему усмотрению и моими удобствами, и моею судьбой. Я потребовал, чтоб она мне назвала любовника. Я повторил вопрос; но она не прерывала своей клоунской болтовни, продолжая тараторить о том, как она несчастна со мной и что хочет немедленно со мной разводиться. «Mais qui est-ce?», заорал я наконец, кулаком хватив ее по колену, и она, даже не поморщившись, уставилась на меня, точно ответ был так прост, что объяснений не требовалось. Затем быстро пожала плечом и указала пальцем на мясистый затылок шофера. Тот затормозил у небольшого кафе и представился. Не могу вспомнить его смехотворную фамилию, но после стольких лет он мне видится еще совсем ясно – коренастый русак, бывший полковник Белой армии, пышноусый, стриженный ежиком. (Таких, как он, не одна тысяча занималась этим дурацким промыслом в Париже.) Мы сели за столик, белогвардеец заказал вина, а Валерия, приложив к колену намоченную салфетку, продолжала говорить – в меня, скорее, чем со мной: в сей величественный сосуд она всыпала слова с безудержностью, которой я и не подозревал в ней, причем то и дело раздражалась

залпом польских или русских фраз в направлении своего невозмутимого любовника. Положение получалось абсурдное, и оно сделалось еще абсурднее, когда таксомоторный полковник, с хозяйской улыбкой остановив Валерию, начал развивать собственные домыслы и замыслы. Выражаясь на отвратительном французском языке, он наметил тот мир любви и труда, в который собирался вступить рука об руку с малюткой женой. Она же теперь занялась своей внешностью, сидючи между ним и мной: подкрашивала выпученные губки, поправляла клевками пальцев (при этом утраивая подбородок) передок блузки, и так далее, а он между тем говорил о ней, не только как если бы ее не было с нами, но так, как если бы она была сироткой, которую как раз переводили ради ее же блага от одного мудрого опекуна к другому, мудрейшему; и хотя испытываемый мною беспомощный гнев преувеличивал и коверкал, может быть, все впечатления, я могу поклясться, что полковник преспокойно советовался со мной по поводу таких вещей, как ее диета, регулы, гардероб и книжки, которые она уже читала или должна была бы прочитать. «Мне кажется», говорил он, «ей понравится “Жан-Кристоф” – как вы думаете?» О, он был сущий литературовед, этот господин Таксович.

Я положил конец его жужжанию тем, что предложил Валерии уложить свои жалкие пожитки немедленно, на что пошляк полковник галантно заявил, что охотно сам перенесет их в свою машину. Вернувшись к исправлению должности, он повез Гумбертов, мосье и мадам, домой, и во весь путь Валерия говорила, а Гумберт Грозный внутренне обсуждал с Гумбертом Кротким, кого именно убьет Гумберт Гумберт – ее, или ее возлюбленного, или обоих, или никого. Помнится, я однажды имел в руках пистолет, принадлежавший студенту-однокашнику, в ту пору моей жизни (я, кажется, об этой поре не упомянул,

но это неважно), когда я лелеял мысль насладиться его маленькой сестрой (необыкновенно лучистой нимфеткой, с большим черным бантом) и потом застрелиться. Теперь же я спрашивал себя, стоила ли Валечка (как ее называл полковник) того, чтобы быть пристреленной, задушенной или утопленной. У нее были очень чувствительные руки и ноги, и я решил ограничиться тем, что сделаю ей ужасно больно, как только мы останемся наедине.

Но этого не суждено было. Валечка – уже к этому времени проливавшая потоки слез, окрашенные размазанной радугой ее косметики – принялась набивать вещами кое-как сундук, два чемодана, лопавшуюся картонку, – и желание надеть горные сапоги и с разбега пнуть ее в круп было, конечно, неосуществимо, покамест проклятый полковник возился поблизости. Не то чтобы он вел себя нагло или что-нибудь в этом роде: напротив, он проявлял (как бы на боковой сцене того театра, в который меня залучили) деликатную старосветскую учтивость, причем сопровождал всякое свое движение неправильно произносимыми извинениями (же деманд пардон... эске же пуи...) и с большим тактом отворачивался, пока Валечка сдирала свои розовые штанишки с веревки над ванной; но мерзавец находился, казалось, одновременно всюду, приспособляя состав свой к анатомии квартиры, читая мою газету в моем же кресле, развязывая узлы на веревке, сворачивая себе папиросу, считая чайные ложечки, посещая уборную, помогая своей девке завернуть электрическую сушилку для волос (подарок ее отца) и вынося на улицу ее рухлядь. Я сидел, сложив руки, одним бедром на подоконнике, погибая от скуки и ненависти. Наконец оба они вышли из дрожавшей квартиры – вибрация двери, захлопнутой мною, долго отзывалась у меня в каждом нерве, что было слабой заменой той

заслуженной оплеухи наотмашь по скуле, которую она бы получила на экране по всем правилам теперешних кинокартин. Неуклюже играя свою роль, я прошествовал в ванную, дабы проверить, не увезли ли они моего английского одеколона; нет, не увезли; но я заметил с судорогой злобного отвращения, что бывший советник царя, основательно опорожнив мочевого пузырь, не спустил воду. Эта торжественная лужа захожей урины с разлезающим в ней вымокшим темно-желтым окурком показалась мне высшим оскорблением, и я дико огляделся, ища оружия. На самом деле, вероятно, не что иное, как русская мещанская вежливость (с примесью пожалуй чего-то азиатского), подвигнуло доброго полковника (Максимовича! – его фамилия вдруг прикатила обратно ко мне), очень чопорного человека, как все русские, на то, чтобы отправить интимную нужду с приличной беззвучностью, не подчеркнув малую площадь чужой квартиры путем низвержения громогласного водопада поверх собственной приглушенной струйки. Но это не пришло мне на ум в ту минуту, когда, мыча от ярости, я рыскал по кухне в поисках чего-нибудь повнушительнее метлы. Вдруг, бросив это, я ринулся из дома с героическим намерением напасть на него, полагаясь на одни кулаки. Несмотря на природную мою силу, я однако вовсе не боксер, меж тем как низкорослый, но широкоплечий Максимович казался вылитым из чугуна. Пустота улицы, где отъезд моей жены не был ничем отпразднован, кроме как в грязи горевшей стразовой пуговицей (оброненной после того, что она хранила ее три никому не нужных года в сломанной шкатулке), вероятно, спасла меня от разбитого в кровь носа. Но все равно: в должный срок я был отомщен. Человек из Пасадены сказал мне как-то, что миссис Максимович, рожденная Зборовская, умерла от родов в 1945-ом году. Она с мужем каким-то образом попала из Франции в

Калифорнию; там, в продолжение целого года, за отличный оклад, они служили объектами опыта, производившегося известным американским этнологом. Опыт имел целью установить человеческие (индивидуальные и расовые) реакции на питание одними бананами и финиками при постоянном пребывании на четвереньках. Мой осведомитель, по профессии доктор, клялся мне, что видел своими глазами обоих – тучную Валечку и ее полковника, к тому времени поседевшего и тоже сильно потолстевшего, – прилежно ползающими по полированным полам через ряд ярко освещенных помещений (в одном были фрукты, в другом вода, в третьем подстилки и т. д.) в обществе нескольких других наемных четвероногих, набранных из бедствующих и беззащитных слоев. Я тогда же пробовал отыскать в антропологическом журнале результаты этих испытаний, но, по-видимому, они еще не были опубликованы. Разумеется, этим научным плодам нужно время для полного созревания. Надеюсь, что отчет будет иллюстрирован хорошими photographиями, когда он появится, хотя не очень вероятно, чтобы тюремные библиотеки получали такого рода ученые труды. Та, которой я принужден ныне пользоваться, служит отличным примером нелепого эклектизма, руководящего выбором книг в учреждениях этого рода. Тут есть Библия, конечно, и есть Диккенс (старое многотомное издание Дилингама, Нью-Йорк, MDCCCLXXXVII); есть и «Детская Энциклопедия» (в которой попадаются довольно милые фотографии солнечноволосых герл-скаутов в трусиках), есть и детективный роман Агаты Кристи «Объявлено Убийство»; но, кроме того, есть такие пустячки, как «Бродяга в Италии» Перси Эльфинстона, автора «Снова Венеция», Бостон, 1868, и сравнительно недавний (1946) «Who's Who in the Limelight» – перечень актеров, режиссеров, драматургов и снимки статических сцен.

Просматривая вчера последнюю из упомянутых книг, я был награжден одним из тех ослепительных совпадений, которых логик не терпит, а поэт обожает. Переписываю большую часть страницы:

Пим, Роланд. Родился в Лунди, Массачусетс, 1922. Получил сценическое образование в Эльсинорском Театре, Дерби, Нью-Йорк. Дебютировал в «Прорвавшемся Солнце». Среди множества других пьес, в которых он играл, были: «В Соседнем Квартале», «Девушка в Зеленом», «Перетасованные Мужья», «Странный Гриб», «На Волоске», «Джон Ловли», «Ты Снилось Мне».

Куильти, Клэр. Американский драматург. Родился в Ошан Сити, Нью-Джерси, 1911. Окончил Колумбийский Университет. Начал работать по коммерческой линии, но потом обратился к писанию пьес. Автор «Маленькой Нимфы», «Дамы, Любившей Молнию» (в сотрудничестве с Вивиан Дамор-Блок), «Темных Лет», «Странного Гриба», «Любви Отца» и других. Достойны внимания его многочисленные пьесы для детей. «Маленькая Нимфа» (1940) выдержала турне в 14.000 миль и давалась 280 раз в провинции за одну зиму, прежде чем дойти до Нью-Йорка. Любимые развлечения: полуночные автомобили, фотография, домашние зверьки.

Квайн, Долорес. Родилась в 1882-ом году в Дэйтоне, Огайо. Изучала сценическое искусство в Американской Академии. Дебютировала в Оттаве, в 1900-ом году. Дебют в Нью-Йорке состоялся в 1904-ом году в «Не Разговаривай с Чужими». С тех пор пропала в таких-то пьесах...

Какой беспомощной мукой терзаюсь при одном виде имени моей милой любви, даже тут, при фамилии какой-то гнусной старой комедиантки! Ведь, может быть, и она стала бы актрисой! Родилась в 1935-ом году, выступала (кстати, вижу, что в конце предыдущего параграфа у меня описка – но, пожалуйста, не поправляйте, уважаемый издатель) в «Убитом Драматурге». Квайн-Швайн. Убил ты Куилты. О, Лолита моя, все, что могу теперь, – это играть словами.

Канитель с разводом заставила меня отложить отплытие, и мрак еще одной Мировой войны уже окутал земной шар, когда, после скучной зимы в Португалии, где я перенес воспаление легких, я наконец достиг берегов Америки. В Нью-Йорке я охотно принял предлагаемую судьбой легкую службу: она заключалась главным образом в изобретении и редактировании парфюмерных объявлений. Я приветствовал ее поверхностный характер и псевдолитературный налет и занимался ею кое-как, когда вздумается. С другой стороны, новый, военного времени, университет в Нью-Йорке уговаривал меня дописать мою сравнительную историю французской литературы. Первый том занял у меня года два работы, причем я редкий день трудился меньше пятнадцати часов. Оглядываясь на этот период, я вижу его аккуратно разделенным на просторный свет и узкую тень: свет относится к радостям изысканий в чертогах библиотек; тень – к пытке желаний, к бессоннице – словом, к тому, о чем я уже достаточно поговорил. Знакомый со мною читатель легко себе представит, как усердно, в пыльную жару, я высматривал – увы, всегда издали – нимфеток, играющих в Центральном Парке, и как мне были отвратительны декоративные, дезодоризованные секретарши и конторщицы, которыми один из шутников у нас в деле все старался меня прельстить. Опустим все это. Гибельный упадок душевных сил привел меня в санаторию на полтора года; я вернулся к работе – и вскоре опять занемог.

Выздоровление могла обещать бодрая жизнь на вольном воздухе. Любимый мой врач, очаровательный циник с короткой темной бородкой, познакомил меня со

своим братом, который собирался вести экспедицию в приполярные области Канады. Я к ней был прикомандирован в качестве «наблюдателя за психическими реакциями». От времени до времени я делил (не очень, впрочем, успешно) с двумя молодыми ботаниками и старым плотником пухлявые прелести одной из наших специалисток по питанию, докторши Аниты Джонсон – которую вскоре услали на самолете восвояси, о чем вспоминаю с удовольствием. Цель экспедиции не представлялась мне ясно. Судя по многочисленности метеорологов, участвовавших в ней, можно было подумать, что мы прослеживаем к его берлоге (где-то, по-видимому, на острове Принца Уэльского) блуждающий и шаткий северный магнитный полюс. Одна из групп основала с помощью канадцев метеорологическую станцию на Пьеровой Стрелке в Мельвильском Зунде. Другая, тоже заблуждавшаяся группа собирала планктон. Третья изучала связь между туберкулезом и тундрой. Берт, фильмовой фотограф, очень неуверенный в себе тип, вместе с которым меня заставляли одно время усиленно заниматься физическим трудом (у него, как и у меня, были психические нелады), уверял, что «большие люди» в нашей экспедиции, настоящие ее руководители, которых мы никогда не видали, имели целью проверить влияние климатического потепления на мех полярной лисы.

Мы жили в разборных избах среди докембрийского гранитного мира. У нас была уйма припасов – комплект «Reader's Digest», мешалка для мороженого, химические клозеты, колпаки из цветной бумаги, чтобы справлять Рождество. Я удивительно хорошо поправился, несмотря на неописуемую пустоту и скуку жизни. Окруженный унылой растительностью Арктики – мелким ивняком, лишайниками, – пронизанный и, как полагаю, прочищенный свистящим ветром, я сидел,

бывало, на круглом камне, под совершенно прозрачным небом (сквозь которое, однако, не просвечивало ничего важного) и чувствовал себя до странности отчужденным от своего «я». Упитанные, лоснистые маленькие эскимоски с личиками морских свинок, рыбным запахом и отталкивающей вороньей чернотой прямых волос возбуждали во мне даже меньше вожделения, чем Джонсон. Нимфетки не водятся в арктических областях.

Я предоставил более знающим людям анализировать дрейфование льдов, друмлины, гремлины, кремлины, и некоторое время пытался записывать то, что я простодушно принимал за «психические реакции» (я заметил, например, что при полночном солнце сновидения бывают ярко окрашены, что подтвердил мой друг фотограф). Кроме того, мне полагалось допрашивать разных своих товарищей о множестве предметов, каковы: ностальгия, боязнь неизвестных зверей, гастрономические и половые мечтания, любимые развлечения, любимые радиопрограммы, изменения в образе мыслей и так далее. Всем это так приелось, что я бросил – и только в конце моей двадцатимесячной «приполярной каторги» (как шутливо выразился один из ботаников) настроил сплошь выдуманный и очень красочный рапорт; любопытный читатель найдет его напечатанным в «Annals of Adult Psychophysics» за 1945 или 1946 год, а также в выпуске «Arctic Explorations», посвященном нашей экспедиции – которая, замечу в заключение, не имела в действительности никакого отношения к медным залежам на острове Виктория и тому подобным пустякам, как мне впоследствии удалось узнать от моего благодушного врача, ибо настоящая цель экспедиции была, как говорится, «секретного» порядка, и посему позволю себе только добавить, что в чем бы цель ни была, она была полностью достигнута.

Читатель узнает с сожалением, что вскоре по моем возвращении в цивилизованный мир мне пришлось снова бороться с помрачением рассудка (если только это жестокое определение применимо к меланхолии и чувству невыносимого томления). Окончательным выздоровлением я обязан открытию, сделанному мной во время лечения в очень дорогой санатории. Я открыл неисчерпаемый источник здоровой потехи в том, чтобы разыгрывать психиатров, хитро поддакивая им, никогда не давая им заметить, что знаешь все их профессиональные штуки, придумывая им в угоду вещие сны в чистоклассическом стиле (которые заставляли их самих, вымогателей снов, видеть сны и по ночам просыпаться с криком), дразня их подложными воспоминаниями о будто бы подсмотренных «исконных сценах» родительского сожительства и не позволяя им даже отдаленно догадываться о действительной беде их пациента. Подкупив сестру, я получил доступ к архивам лечебницы и там нашел, не без смеха, фишки, обзывавшие меня «потенциальным гомосексуалистом» и «абсолютным импотентом». Эта забава мне так нравилась, и действие ее на меня было столь благотворным, что я остался лишний месяц после выздоровления (причем чудно спал и ел с аппетитом школьницы). А после этого я еще прикинул недельку единственно ради того, чтобы иметь удовольствие потягаться с могучим новым профессором из «перемещенных лиц», или Ди-Пи (от «Дементии Прекокс»), очень знаменитым, который славился тем, что умел заставить больного поверить, что тот был свидетелем собственного зачатия.

По выходе из больницы я решил приискать себе деревушку в Новой Англии или какой-нибудь сонный городок (ильмы, белая церковь), где бы я мог провести литературное лето, пробавляясь коробом накопившихся у меня заметок и купаясь в ближнем озере. Работа над учебником стала увлекать меня снова, а участие в дядюшкиных посмертных благовониях я к тому времени уже свел к минимуму.

Один из бывших его служащих, отпрыск почтенного рода, предложил мне поселиться на несколько месяцев в пригородном доме своих обедневших родственников по фамилии Мак-Ку, которые желали сдать верхний этаж, где до смерти своей чинно ютилась старая тетка. Он сказал, что у них две дочки, одна совсем маленькая, а другая двенадцати лет, и прекрасный сад невдалеке от прекрасного озера, и я сказал, что все это предвещает совершенно совершенное лето.

Мы обменялись письмами, и я убедил господина Мак-Ку, что не гажу в углах. Ночь в поезде была фантастическая: я старался представить себе со всеми возможными подробностями таинственную нимфетку, которую буду учить по-французски и ласкать по-гумбертски. Никто меня не встретил на игрушечном вокзальчике, где я вышел со своим новым дорогим чемоданом, и никто не отозвался на телефонный звонок. Через некоторое время, однако, в единственную гостиницу зелено-розового Рамздэля явился расстроенный, промокший Мак-Ку с известием, что его дом только что сгорел дотла – быть может, вследствие одновременного пожара, пылавшего у меня всю ночь в жилах. Мак-Ку объяснил, что его жена с дочками уехала на семейном автомобиле искать приюта на какой-то им

принадлежавшей мызе, но что подруга жены, госпожа Гейз, прекрасная женщина, 342, Лоун Стрит, готова сдать мне комнату. Старуха, жившая как раз против госпожи Гейз, одолжила Мак-Ку свой лимузин, допотопную махину с прямоугольным верхом, которой управлял веселый негр. Я же подумал про себя, что раз исчезла единственная причина моего приезда именно в Рамздэль, новое устройство, предложенное мне, – просто бред. Какое было мне дело до того, что ему придется отстроить заново дом – ведь, наверно же, все было хорошо застраховано. Я чувствовал раздражение, разочарование и скуку, но, будучи вежливым европейцем, не мог отказаться от того, чтобы быть отвезенным на Лоун Стрит в этом погребальном лимузине, да я, кроме того, чуял, что в противном случае Мак-Ку придумает какой-нибудь еще более сложный способ распорядиться моей персоной. Я видел, как он засеменил прочь и как мой шофер покачал головой с легкой усмешкой. Во время пути я все клялся себе, что не останусь в Рамздэле ни при каких обстоятельствах, а вылечу в тот же день в направлении Бермудских, или Багамских, или Чортовоматерных островов. Еще недавно по хребту у меня трепетом проходили некоторые сладостные возможности в связи с цветными снимками морских курортов, и, по правде сказать, именно Мак-Ку резко отвлек меня от этих планов своим благонамеренным, но как теперь выяснилось, абсолютно несбыточным предложением.

Кстати насчет резких отвлечений в сторону: мы едва не раздавили навязчивую пригородную собаку (из тех, что устраивают засады автомобилям), как только повернули на Лоун Стрит. Показался Гейзовский дом – досчатый, беленый, ужасный, потускневший от старости, скорее серый, чем белый – тот род жилья, в котором знаешь, что найдешь вместо душа клистирную кишку, натягиваемую на ванный кран. Я дал на чай

шоферу и понадеялся, что он сразу отъедет, – это позволило бы мне незаметно спетлить обратно к гостинице, чтобы подобрать чемодан; но он попросту причалил к противоположному дому, с веранды которого старая мисс Визави окликала его. Что мне было делать? Я нажал на дверную кнопку.

Чернокожая горничная впустила меня и оставила стоять на половике, покамест мчалась назад на кухню, где что-то горело или, вернее, подгорало.

Прихожую украшали гроздь дверных колокольчиков, белоглазое деревянное чудище мексиканского производства для туристов, и Ван Гог («Арлезианка») – банальный баловень изысканной части буржуазного класса.

Справа приотворенная дверь позволяла увидеть уголок гостиной с добавочным мексиканским вздором в стеклянном шкафу и полосатым диваном вдоль стены. Впереди, в глубине прихожей, была лестница, и пока я стоял, вытирая платком лоб (только теперь я отдал себе отчет в том, какая жара была на дворе) и глядя на случайно подвернувшийся предмет – старый серый теннисный мячик, лежавший на дубовом бауле, – донесся с верхней площадки контрольный голос госпожи Гейз, которая, перегнувшись через перила, мелодично спросила: «Это мсье Гумберт?» В придачу оттуда упало немножко папиросного пепла. Затем сама дама (сандалии, темно-красные штаны, желтая шелковая блузка, несколько прямоугольное лицо – в этом порядке) сошла по ступеням лестницы, все еще постукивая указательным пальцем по папиросе.

Я, пожалуй, тут же и опишу госпожу Гейз, чтобы разделаться с ней. Бедной этой даме было лет тридцать пять, у нее был гладкий лоб, выщипанные брови и совсем простые, хотя и довольно привлекательные черты лица того типа, который можно определить как слабый раствор Марлены Дитрих. Похлопывая ладонью

по бронзоватому шиньону на затылке, она повела меня в гостиную, где мы поговорили с минуту о сгоревшем доме Мак-Ку и преимуществах жизни в Рамздэле. Ее широко расставленные аквамариновые глаза имели привычку окидывать всего собеседника, прилежно избегая только его собственных глаз. Ее улыбка сводилась к вопросительному вскидыванию одной брови; и пока она говорила, она как бы развертывала кольца своего тела, совершая с дивана судорожные маленькие вылазки в направлении трех пепельниц и камина (в котором лежала коричневая сердцевина яблока); после чего она снова откидывалась, подложив под себя одну ногу. Она явно принадлежала к числу тех женщин, чьи отполированные слова могут отразить дамский кружок чтения или дамский кружок бриджа, но отразить душу не могут; женщин, совершенно лишенных чувства юмора, женщин, в сущности вполне равнодушных к десяти-двенадцати знакомым им темам салонного разговора, но при этом весьма привередливых в отношении разговорных правил, сквозь солнечный целлофан коих ясно проступают затаенные, подавленные и не очень аппетитные вещи. Я вполне понимал, что ежели по какому-либо невероятному стечению обстоятельств оказался бы ее жильцом, она бы методически принялась делать из меня то, что ей представлялось под словом «жилец», и я был бы вовлечен в одну из тех скучных любовных историй, которые мне были так знакомы.

Впрочем, никакой не могло быть речи о том, чтобы мне тут поселиться. Я не думал, что мог бы жить счастливо в доме, где на каждом стуле валяется истрепанный журнальчик и где гнусно смешивается комедия «функциональной» современной мебели с трагедией ветхих качалок и шатких столиков с мертвыми лампами на них. Мадам повела меня наверх и налево, в «мою» комнату. Я осмотрел ее сквозь туман

моего отказа от нее, но несмотря на эту туманность, заметил над «моей» постелью репродукцию «Крейцеровой Сонаты» Ренэ Принэ. И эту-то конуру для прислуги она называла «полустудией»! Вон отсюда, немедленно вон, мысленно кричал я себе, притворяясь, что обдумываю пониженную до смешного цену, которую с мечтательной и грозной надеждой хозяйка просила за полный пансион.

Старосветская учтивость заставляла меня, однако, длить пытку. Мы перешли через площадку лестницы на правую сторону дома («Тут живу я, а тут живет Ло» – вероятно, горничная, подумал я), и квартирант-любовник едва мог скрыть содрогание, когда ему, весьма утонченному мужчине, было дано заранее узреть единственную в доме ванную – закут (между площадкой и комнатой уже упомянутой Ло), в котором бесформенные, мокрые вещи нависали над сомнительной ванной, отмеченной вопросительным знаком оставшегося в ней волоска; и тут-то и встретили меня предвиденные мной извивы резиновой змеи и другой, чем-то сродный ей, предмет: мохнато-розовая попонка, жеманно покрывавшая доску клозета.

«Я вижу, впечатление у вас не очень благоприятное», сказала моя дама, уронив на миг руку ко мне на рукав. В ней сочеталась хладнокровная предприимчивость (переизбыток того, что называется, кажется, «спокойной грацией») с какой-то застенчивостью и печалью, из-за чего особая тщательность, с которой она выбирала слова, казалась столь же неестественной, как интонации преподавателя дикции. «Мой дом не очень опрятен, признаюсь», продолжала милая обреченная бедняжка, «но я вас уверяю (глаза ее скользнули по моим губам), вам здесь будет хорошо, очень даже хорошо. Давайте-ка я еще покажу вам столовую и сад» (последнее

произнесено было живее, точно она заманчиво взмахнула голосом).

Я неохотно последовал за ней опять в нижний этаж; прошли через прихожую и через кухню, находившуюся на правой стороне дома, на той же стороне, где были столовая и гостиная (между тем как слева от прихожей, под «моей» комнатой ничего не было, кроме гаража). На кухне плотная молодая негритянка проговорила, снимая свою большую глянцеvито-черную сумку с ручки двери, ведшей на заднее крыльцо: «Я теперь пойду, миссис Гейз». – «Хорошо, Луиза», со вздохом ответила та, «я заплачу вам в пятницу». Мы прошли через небольшое помещение для посуды и хлеба и очутились в столовой, смежной с гостиной, которой мы недавно любовались. Я заметил белый носок на полу. Недовольно крикнув, госпожа Гейз нагнулась за ним на ходу и бросила его в какой-то шкаф. Мы бегло оглядели стол из красного дерева с фруктовой вазой посередке, ничего не содержаvшей, кроме одной, еще блестящей, сливовой косточки. Между тем я нащупал в кармане расписание поездов и незаметно его выудил, чтобы, как только будет возможно, ознакомиться с ним. Я все еще шел следом за госпожой Гейз через столовую, когда вдруг в конце ее вспыхнула зелень. «Вот и веранда», пропела моя водительница, и затем, без малейшего предупреждения, голубая морская волна вздулась у меня под сердцем, и с камышового коврика на веранде, из круга солнца, полуголая, на коленях, поворачиваясь на коленях ко мне, моя ривьерская любовь внимательно на меня глянула поверх темных очков.

Это было то же дитя – те же тонкие, медового оттенка плечи, та же шелковистая, гибкая, обнаженная спина, та же русая шапка волос. Черный в белую горошинку платок, повязанный вокруг ее торса, скрывал от моих постаревших горилловых глаз – но не от взора молодой памяти – полуразвитую грудь,

которую я так ласкал в тот бессмертный день. И как если бы я был сказочной нянькой маленькой принцессы (потерявшейся, украденной, найденной, одетой в цыганские лохмотья, сквозь которые ее нагота улыбается королю и его гончим), я узнал темно-коричневое родимое пятнышко у нее на боку. Со священным ужасом и упоением (король рыдает от радости, трубы трубят, нянька пьяна) я снова увидел прелестный впалый живот, где мои на юг направлявшиеся губы мимоходом остановились, и эти мальчишеские бедра, на которых я целовал зубчатый отпечаток от пояса трусиков – в тот безумный, бессмертный день у Розовых Скал. Четверть века, с тех пор прожитая мной, сузилась, образовала трепещущее острие и исчезла.

Необыкновенно трудно мне выразить с требуемой силой этот взрыв, эту дрожь, этот толчок страстного узнавания. В тот солнцем пронизанный миг, за который мой взгляд успел оползти коленопреклоненную девочку (моргавшую поверх строгих темных очков – о, маленький Herr Doktor, которому было суждено вылечить меня ото всех болей!), пока я шел мимо нее под личиной зрелости (в образе статного мужественного красавца, героя экрана), пустота моей души успела вобрать все подробности ее яркой прелести и сравнить их с чертами моей умершей невесты. Позже, разумеется, она, эта пова, эта Лолита, *моя* Лолита, должна была полностью затмить свой прототип. Я только стремлюсь подчеркнуть, что откровение на американской веранде было следствием того «княжества у моря» в моем страдальческом отрочестве. Все, что произошло между этими двумя событиями, сводилось к череде слепых исканий и заблуждений и ложных зачатков радости. Все, что было общего между этими двумя существами, делало их единым для меня.

У меня, впрочем, никаких нет иллюзий. Мои судьи усмотрят в вышесказанном лишь кривлянья сумасшедшего, попросту любящего le fruit vert. В конце концов, мне это совершенно все равно. Знаю только, что пока Гейзиха и я спускались по ступеням в затаивший дыхание сад, колени у меня были как отражение колен в зыбкой воде, а губы были как песок.

«Это была моя Ло», произнесла она, «а вот мои лилии».

«Да», сказал я, «да. Они дивные, дивные, дивные».

Экспонат номер два – записная книжечка в черном переплете из искусственной кожи, с тисненым золотым годом (1947) лесенкой в верхнем левом углу. Описываю это аккуратное изделие фирмы Бланк, Бланктон, Массач., как если бы оно вправду лежало передо мной. На самом же деле оно было уничтожено пять лет тому назад, и то, что мы ныне рассматриваем (благодаря любезности Мнемозины, запечатлевшей его), – только мгновенное воплощение, щуплый выпадыш из гнезда феникса.

Отчетливость, с которой помню свой дневник, объясняется тем, что писал я его дважды. Сначала я пользовался блокнотом большого формата, на отрывных листах которого я делал карандашные заметки со многими подчистками и поправками; все это с некоторыми сокращениями я переписал мельчайшим и самым бесовским из своих почерков в черную книжечку.

Тридцатое число мая официально объявлено Днем Постным в Нью-Гампшире, но в Каролинах, например, это не так. В 1947 году в этот день из-за поветрия так называемой «желудочной инфлюэнцы» рамздэльская городская управа уже закрыла на лето свои школы. Незадолго до того я въехал в Гейзовский дом, и дневничок, с которым я теперь собираюсь познакомить читателя (вроде того как шпион передает наизусть содержание им проглоченного донесения), покрывает большую часть июня. Мои замечания насчет погоды читатель может проверить в номерах местной газеты за 1947 год.

Четверг. Очень жарко. С удобного наблюдательного пункта (из окна ванной комнаты) увидел, как Долорес

снимает белье с веревки в яблочно-зеленом свете по ту сторону дома. Вышел, как бы прогуливаясь. Она была в клетчатой рубашке, синих ковбойских панталонах и полотняных тапочках. Каждым своим движением среди круглых солнечных бликов она дотрагивалась до самой тайной и чувствительной струны моей неизменной плоти. Немного погодя села около меня на нижнюю ступень заднего крыльца и принялась подбирать мелкие камешки, лежавшие на земле между ее ступнями – острые, острые камешки, – и в придачу к ним крученный осколок молочной бутылки, похожий на губу огрызающегося животного, и кидать ими в валявшуюся поблизости жестянку. Дзинк. Второй раз не можешь, не можешь – что за дикая пытка, – не можешь попасть второй раз. Дзинк. Чудесная кожа, и нежная и загорелая, ни малейшего изъяна. Мороженое с сиропом вызывает сыпь: слишком обильное выделение из сальных желез, питающих фолликулы кожи, ведет к раздражению, а последнее открывает путь заразе. Но у нимфеток, хоть они и наедаются до отвала всякой жирной пищей, прыщиков не бывает. Боже, какая пытка – этот атласистый отлив за виском, переходящий в ярко-русые волосы! А эта косточка, вздрагивающая сбоку у запыленной лодыжки...

«Дочка мистера Мак-Ку? Джинни Мак-Ку? Ах – ужасная уродина! И подлая. И хромая. Чуть не умерла от полиомиелита».

Дзинк. Блестящая штриховка волосков вдоль руки ниже локтя. Когда она встала, чтобы внести в дом белье, я издали проследил обожающим взглядом выцветшую сзади голубизну ее закаченных штанов. Из середины поляны г-жа Гейз, вооруженная кодаком, преспокойно выросла, как фальшивое дерево факира, и после некоторых светотехнических хлопот – грустный взгляд вверх, довольный взгляд вниз – позволила себе

снять сидящего на ступеньке смущенного Humbert le Bel.

Пятница. Видел, как она шла куда-то с Розой, темноволосой подругой. Почему меня так чудовищно волнует детская – ведь попросту же детская – ее походка? Разберемся в этом. Чуть туповато ставимые носки. Какая-то разболтанность, продленная до конца шага в движении ног ниже колен. Едва намеченное пошаркивание. И все это бесконечно молодо, бесконечно распутно. Гумберта Гумберта, кроме того, глубоко потрясает жаргон малютки и ее резкий высокий голос. Несколько позже слышал, как она палила в Розу грубоватым вздором через забор. Все это отзывалось во мне дребезжащим восходящим ритмом. Пауза. «А теперь мне пора, детка».

Суббота. (Возможно, что в этом месте кое-что автором подправлено.) Знаю, что писать этот дневник – безумие, но мне он доставляет странное пронзительное удовольствие; да и кто же – кроме любящей жены – мог бы расшифровать мой микроскопический почерк? Позвольте же мне объявить со всхлипом, что нынче моя Л. принимала солнечную ванну на открытой веранде, но, увы, мать и какие-то другие дамы все время витали поблизости. Конечно, я мог бы расположиться там в качалке и делать вид, что читаю. Но я решил остаться у себя, опасаясь, как бы ужасная, сумасшедшая, смехотворная и жалкая лихорадка, сотрясавшая меня, не помешала мне придать своему появлению какое-либо подобие беззаботности.

Воскресенье. Зыбь жары все еще с нами; благодатнейшая неделя! На этот раз я занял стратегическое положение, с толстой воскресной газетой и новой трубкой в верандовой качалке,

заблаговременно. Увы, она пришла вместе с матерью. Они были в черных купальных костюмах, состоящих из двух частей и таких же новеньких, как моя трубка. Моя душенька, моя голубка на минуту остановилась подле меня – ей хотелось получить страницы юмористического отдела, – и от нее веяло почти тем же, что от другой, ривьерской, только интенсивнее, с примесью чего-то шероховатого – то был знойный душок, от которого немедленно пришла в движение моя мужская сила; но она уже выдернула из меня лакомую часть газеты и отступила к своему половичку рядом с тюленеобразной маменькой. Там моя красота улеглась ничком, являя мне, несметным очам, широко разверстым у меня в зрячей крови, свои приподнятые лопатки, и персиковый пушок вдоль вогнутого позвоночника, и выпуклости обтянутых черным узких ягодиц, и пляжную изнанку отроческих ляжек. Третьеклассница молча наслаждалась зелено-красно-синими сериями рисунков. Более прелестной нимфетки никогда не снилось зелено-красно-синему Приапу. С высохшими губами, сквозь разноцветные слои света глядя на нее, собирая в фокус свое вожделение и чуть покачиваясь под прикрытием газеты, я знал, что если как следует сосредоточусь на этом восприятии, то немедленно достигну высшей точки моего нищенского блаженства. Как хищник предпочитает шевелящуюся добычу застывшей, я хотел, однако, чтобы это убогое торжество совпало с одним из разнообразных движений, которые читавшая девочка изредка делала, почесывая себе хребет и показывая чуть подтушеванную подмышку, но толстая Гейз вдруг все испортила тем, что повернулась ко мне и попросила дать ей закурить, после чего завела никчемный разговор о шарлатанском романе какого-то популярного пройдохи.

Понедельник. Delectatio morosa.

Я провожу томительные дни
В хандре и грусти...

Мы (матушка Гейз, Долорес и я) должны были ехать после завтрака на Очковое озеро и там купаться и валяться на песке; но перламутровое утро выродилось в дождливый полдень, и Ло закатали сцену.

Установлено, что средний возраст полового созревания у девочек в Нью-Йорке и Чикаго – тринадцать лет и девять месяцев; индивидуально же этот возраст колеблется между десятью (или меньше) и семнадцатью. Маленькой Вирджинии еще не стукнуло четырнадцать, когда ею овладел Эдгар. Он давал ей уроки алгебры. Воображаю. Провели медовый месяц в Санкт-Петербурге на западном побережье Флориды. «Мосье По-по», как один из учеников Гумберта Гумберта в парижском лицее называл поэта По.

У меня имеются все те черты, которые, по мнению экспертов по сексуальным интересам детей, возбуждают ответный трепет у девочек: чистая линия нижней челюсти, мускулистая кисть руки, глубокий голос, широкие плечи. Кроме того, я, говорят, похож на какого-то не то актера, не то гугнильца с гитарой, которым бредит Ло.

Вторник. Дождик. Никаких озер (одни лужи). Маменька уехала за покупками. Я знал, что Ло где-то близко. В результате скрытых маневров я набрел на нее в спальне матери. Оттягивала перед зеркалом веко, стараясь отделаться от соринки, попавшей в левый глаз. Клетчатое платице. Хоть я и обожаю этот ее опьяняющий каштановый запах, все же мне кажется, что ей бы следовало кое-когда вымыть волосы. На мгновение мы оба заплывали в теплой зелени зеркала, где отражалась вершина тополя вместе с нами и небом.

Подержал ее грубовато за плечи, затем ласково за виски и повернул ее к свету.

«Оно вот здесь», сказала она, «я чувствую...»

«Швейцарская кокрестьянка кокончиком языка...»

«...Вылизала бы?»

«Имно. Попробать?»

«Конечно, попробуйте».

Нежно я провел трепещущим жалом по ее вращающемуся соленому главному яблоку.

«Вот здорово», сказала она, мигая, «все ушло».

«Теперь второй глаз».

«Глупый вы человек», начала она, «там ровно —».

Но тут она заметила мои собранные в пучок приближающиеся губы и покладисто сказала: «Окэй».

Наклонившись к ее теплоте, приподнятому, рыжевато-розовому лицу, сумрачный Гумберт прижал губы к ее бьющемуся веку. Она усмехнулась и, платьем задев меня, быстро вышла из комнаты. Я чувствовал, будто мое сердце бьется всюду одновременно. Никогда в жизни – даже когда я ласкал ту девочку на Ривьере – никогда —

Ночь. Никогда я не испытывал таких терзаний. Мне бы хотелось описать ее лицо, ее движения – а не могу, потому что, когда она вблизи, моя же страсть к ней ослепляет меня. Чорт побери – я не привык к обществу нимфеток! Если же закрываю глаза, вижу всего лишь застывшую часть ее образа, рекламный диапозитив, проблеск прелестной гладкой кожи с исподу ляжки, когда она, сидя и подняв высоко колено под клетчатой юбочкой, завязывает шнурок башмака. «Долорес Гейз, нэ муонтрэ па вуа жямб» (это говорит ее мать, думающая, что знает по-французски).

Будучи à mes heures поэтом, я посвятил мадригал черным, как сажа, ресницам ее бледно-серых, лишенных всякого выражения глаз, да пяти

асимметричным веснушкам на ее вздернутом носике, да белесому пушку на ее коричневых членах; но я разорвал его и не могу его нынче припомнить. Только в банальнейших выражениях (возвращаемся тут к дневнику) удалось бы мне описать черты моей Ло: я мог бы сказать, например, что волосы у нее темно-русые, а губы красные, как облизанный барбарисовый леденец, причем нижняя очаровательно припухлая – ах, быть бы мне пишущей дамой, перед которой она бы позировала голая при голом свете. Но ведь я всего лишь Гумберт Гумберт, долговязый, костистый, с шерстью на груди, с густыми черными бровями и странным акцентом и целой выгребной ямой, полной гниющих чудовищ, под прикрытием медленной мальчишеской улыбки. Да и она вовсе не похожа на хрупкую девочку из дамского романа. Меня сводит с ума двойственная природа моей нимфетки – всякой, быть может, нимфетки: эта смесь в Лолите нежной мечтательной детскости и какой-то жутковатой вульгарности, свойственной курносой смазливости журнальных картинок и напоминающей мне мутно-розовых несовершеннолетних горничных у нас в Европе (пахнувших крошеной ромашкой и по́том) да тех очень молоденьких блудниц, которых переодевают детьми в провинциальных домах терпимости. Но в придачу – в придачу к этому мне чувствуется неизъяснимая, непорочная нежность, проступающая сквозь мускус и мерзость, сквозь смрад и смерть. Боже мой, боже мой... И наконец – что всего удивительнее – она, *эта* Лолита, *моя* Лолита, так обособила древнюю мечту автора, что надо всем и несмотря ни на что существует только – Лолита.

Среда. «Заставьте-ка маму повести нас (нас!) на Очковое озеро завтра». Вот дословно фраза, которую моя двенадцатилетняя пассия проговорила страстным шепотом, столкнувшись со мной в сенях – я выходил,

она вбегала. Отражение послеобеденного солнца дрожало ослепительно-белым алмазом в оправе из бесчисленных радужных игл на круглой спине запаркованного автомобиля. От листвы пышного ильма падали мягко переливающиеся тени на досчатую стену дома. Два тополя зыблились и покачивались. Ухо различало бесформенные звуки далекого уличного движения. Чей-то детский голос звал: «Нанси! Нан-си!» В доме Лолита поставила свою любимую пластинку «Малютка Кармен», которую я всегда называл «Карманная Кармен», от чего она фыркала, притворно глумясь над моим притворным остроумием.

Четверг. Вчера вечером мы сидели на открытой веранде – Гейзиха, Лолита и я. Сгущались теплые сумерки, переходя в полную неги ночь. Старая дурында только что кончила подробно рассказывать мне содержание кинокартины, которую она и Ло видели полгода назад. Очень уже опустившийся боксер наконец знакомится с добрым священником (который сам когда-то, в крепкой своей юности, был боксером и до сих пор мог кулаком свалить грешника). Мы сидели на подушках, положенных на пол; Ло была между мадам и мной (сама втиснулась – звереныш мой). В свою очередь я пустился в уморительный пересказ моих арктических приключений. Муза вымысла протянула мне винтовку, и я выстрелил в белого медведя, который сел и охнул. Между тем я остро ощущал близость Ло, и пока я говорил и жестикулировал в милосердной темноте, я пользовался невидимыми этими жестами, чтобы тронуть то руку ее, то плечо, то куклу-балерину из шерсти и кисеи, которую она тормозила и все сажала ко мне на колени; и наконец, когда я полностью опутал мою жаром пышущую душеньку этой сетью бесплотных ласок, я посмел погладить ее по ноге, по крыжовенным волоскам вдоль голени, и я смеялся

собственным шуткам, и трепетал, и таил трепет, и раза два ощутил беглыми губами тепло ее близких кудрей, тыкаясь к ней со смешными апарте в быстрых скобках и лаская ее игрушку. Она тоже очень много ерзала, так что в конце концов мать ей резко сказала перестать возиться, а ее куклу вдруг швырнула в темноту, и я все похохатывал и обращался к Гейзихе через ноги Ло, причем моя рука ползла вверх по худенькой спине нимфетки, нащупывая ее кожу сквозь ткань мальчишеской рубашки.

Но я знал, что все безнадежно. Меня мутило от вожделения, я страдал от тесноты одежд, и был даже рад, когда спокойный голос матери объявил в темноте: «А теперь мы считаем, что Ло пора идти спать». «А я считаю, что вы свинюги», сказала Ло. «Отлично, значит, завтра не будет пикника», сказала Гейзиха. «Мы живем в свободной стране», сказала Ло. После того что сердитая Ло, испустив так называемое «Бронксовое ура» (толстый звук тошного отвращения), удалилась, я по инерции продолжал пребывать на веранде, между тем как Гейзиха выкуривала десятую за вечер папиросу и жаловалась на Ло.

Ло, видите ли, уже выказывала злостность, когда ей был всего один год и она, бывало, из кровати кидала игрушки через боковую сетку так, чтобы бедной матери этого подлого ребенка приходилось их подбирать! Ныне, в двенадцать лет, это прямо бич божий, по словам Гейзихи. Единственное, о чем Ло мечтает, – это дрыгать под джазовую музыку или гарцевать в спортивных шествиях, высоко поднимая колени и жонглируя палочкой. Отметки она получает плохие, но все же оказалась лучше приспособленной к школьному быту на новом месте, чем в Писки (Писки был их родной город в средней части Соединенных Штатов; рамздэльский же дом раньше принадлежал покойной свекрови; в Рамздэль они переехали около двух лет

тому назад). «Отчего Ло была несчастна в той первой школе?» «Ах», сказала вдова, «мне ли не знать. Я, бедная, сама прошла через это в детстве: ужасны эти мальчишки, которые выкручивают тебе руку, нарочно влетают в тебя с кипой книг, дергают за волосы, больно щиплют за грудь, стараются задрать тебе юбку. Конечно, капризность является сопутствующим обстоятельством нормального развития, но Ло переходит всякие границы. Она хмурая и изворотливая. Ведет себя дерзко и вызывающе. На днях Виола, итальяночка у нее в классе, жаловалась, что Лолита ее кольнула в зад самопишущим пером. Знаете», сказала Гейзиха, «чего бы мне хотелось? Если бы вы, monsieur, случайно еще были здесь осенью, я бы вас попросила помочь ей готовить уроки – мне кажется, вы знаете буквально все – географию, математику, французский». «Все, все», ответил monsieur. «Ага», подхватила Гейзиха, «значит, вы еще будете здесь?» Я готов был крикнуть, что я бы остался навеки, если я мог бы надеяться изредка понежить обещанную ученицу. Но я не доверял Гейзихе. Поэтому я только хмыкнул, потянулся и, не желая долее сопутствовать ее обстоятельности (le mot juste), вскоре ушел к себе в комнату. Но вдовушка, видимо, не считала, что день окончился. Я покоился на своем холодном ложе, прижимая к лицу ладонь с душистой тенью Лолиты, когда услышал, как моя неугомонная хозяйка крадется к двери и сквозь нее шепчет: «Только хочу знать, кончили ли вы “Взгляд и Вдох”?» (иллюстрированный журнал, на днях мне одолженный). Из комнаты дочки раздался вопль Ло: журнал был у нее. Чорт возьми – не дом, а прокатная библиотека.

Пятница. Интересно, что сказал бы солидный директор университетского издательства, в котором выходит мой учебник, если бы я в нем привел

выражение Ронсара насчет «маленькой аленькой щели» или строчки Реми Бэлло: «тот холмик небольшой, мхом нежным опущенный, с пунцовой посреди чертою проведенной» – и так далее. Боюсь, опять заболею нервным расстройством, если останусь жить в этом доме, под постоянным напором невыносимого соблазна, около моей душеньки – моей и Эдгаровой душеньки – «моей жизни, невесты моей». Посвятила ли ее уже мать-природа в Тайну Менархии? Ощущение раздутости. «Проклятие», как называют это ирландки... Иносказательно: «падение с крыши» или «гостит бабушка». «Госпожа Матка (цитирую из журнала для девочек) начинает строить толстую мягкую перегородку – пригодится, если внутри ляжет ребеночек». Крохотный сумасшедший в своей обитой войлоком палате для буйных.

Между прочим: если когда-нибудь я совершу всерьез убийство – отметьте это «если», – позыв потребовался бы посильнее, чем тот, который я испытал по отношению к Валерии. Тщательно отметьте, что тогда я действовал довольно бестолково. Когда вам захочется – если захочется – жарить меня на электрическом стуле, имейте в виду, пожалуйста, что только припадок помешательства мог наделить меня той примитивной энергией, без которой нельзя превратиться в зверя (возможно, что все это место подправлено по сравнению с дневничком). Иногда я во сне покушаюсь на убийство. Но знаете, что случается? Держу, например, пистолет. Целюсь, например, в спокойного врага, проявляющего безучастный интерес к моим действиям. О да, я исправно нажимаю на собачку, но одна пуля за другой вяло выкатывается на пол из придурковатого дула. В этих моих снах у меня лишь одно желание – скрыть провал от врага, который, однако, медленно начинает сердиться.

Сегодня за обедом старая ехидна, искоса блеснув косым, по-матерински насмешливым взглядом на Ло (я только что кончил описывать в шутливом тоне прелестные усики щеточкой, которые почти решил отпустить), сказала: «Лучше не нужно, иначе у кого-то совсем закружится головка». Ло немедленно отодвинула свою тарелку с вареной рыбой, чуть не опрокинув при этом стакан молока, и метнулась вон из столовой. «Вам было бы не слишком скучно», проговорила Гейзиха, «завтра поехать с нами на озеро купаться, если Ло извинится за свою выходку?»

Некоторое время спустя ко мне в комнату донеслось гулкое дверное бухание и другие звуки, исходившие из каких-то содрогавшихся недр, где у соперниц происходила яростная ссора.

Она не извинилась. Поездка отменена. А ведь могло бы быть забавно.

Суббота. Вот уже несколько дней, как оставляю дверь приоткрытой, когда у себя работаю; но только сегодня уловка удалась. Со многими ужимками, шлепая и шаркая туфлями (с целью скрыть смущение, что вот посетила меня без зова), Ло вошла и, повертевшись там и сям, стала рассматривать кошмарные завитушки, которыми я измарал лист бумаги. О нет – то не было следствием вдохновенной паузы эссеиста между двумя параграфами; то была гнусная тайнопись (которую понять она не могла) моего рокового вожделения. Ее русые локоны склонились над столом, у которого я сидел, и Хумберт Хриплый обнял ее одной рукой – жалкое подражание кровному родству. Держа лист и продолжая его изучать чуть-чуть близорукими глазами, моя наивная маленькая гостья медленно полуприсела ко мне на колени. Ее прелестный профиль, приоткрытые губы, теплые волосы были в каких-нибудь трех вершках от моего ощеренного резца, и сквозь грубоватую ткань

мальчишеской одежды я чувствовал жар ее тела. Вдруг я ясно понял, что могу поцеловать ее в шею или в уголок рта с полной безнаказанностью – понял, что она мне это позволит и даже прикроет при этом глаза по всем правилам Голливуда. Это так же просто, как двойная порция сливочного мороженого с горячим шоколадным соусом. Не могу объяснить моему ученому читателю (брови которого, вероятно, так полезли вверх, что уже доехали до затылка через всю плешь), каким образом я это понял; может быть, звериным чутьем я уловил легчайшую перемену в ритме ее дыхания, ибо теперь она уже не столько разглядывала мою мазню – о моя прозрачная нимфетка! – сколько ждала с тихим любопытством, чтобы произошло именно то, чего до смерти хотелось обаятельному квартиранту. Дитя нашего времени, жадное до киножурналов, знающее толк в снятых крупным планом, млеющих, медлящих кадрах, она, наверное, не нашла бы ничего странного в том, чтобы взрослый друг, статный красавец – Поздно! Весь дом вдруг загудел от голоса говорливой Луизы, докладывающей госпоже Гейз, которая только что вернулась, о каком-то мертвом зверьке, найденном ею и Томсоном (соседским шофером) в подвале, – и, конечно, моя Лолиточка не могла пропустить такой интересный случай.

Воскресенье. Она переменчива, она капризна, она угловата, она полна терпкой грации резвого подростка. Она нестерпимо привлекательна с головы до ног (отдаю всю Новую Англию за перо популярной романистки!) – начиная с готового банта и заколок в волосах и кончая небольшим шрамом на нижней части стройной икры (куда ее лягнул роликовым коньком мальчишка в Писки), как раз над уровнем белого шерстяного носка. Она только что отправилась с мамашей к Гамильтонам – празднование дня рождения подруги, что ли. Бумажное

платье в клетку с широкой юбкой. Грудки, кажется, уже хорошо оформились. Как ты спешишь, моя прелесть!

Понедельник. Дождливое утро. «Ces matins gris si doux...»

На мне белая пижама с лиловым узором на спине. Я похож на одного из тех раздутых пауков жемчужного цвета, каких видишь в старых садах. Сидит в центре блестящей паутины и помаленьку дергает ту или другую нить. Моя же сеть простирается по всему дому, а сам я сижу в кресле, как хитрый кудесник, и прислушиваюсь. Где Ло? У себя? Тихонько дергаю шелковинку. Нет, она вышла оттуда; я только что слышал прерывистый треск поворачивающегося туалетного ролика; но закинутое мной слуховое волоконец не проследило шагов из ванной обратно к ней в комнату. Может быть, она все еще чистит зубы (единственное гигиеническое действие, которое Лолита производит с подлинным рвением). Нет. Дверь ванной только что хлопнула; значит, надобно пошарить дальше по дому в поисках дивной добычи. Давай-ка пущу шелковую нить на нижний этаж. Этим путем убеждаюсь, что ее нет на кухне, что она, например, не затворяет с грохотом дверцу рефрижератора, не шипит на ненавистную мать (которая, полагаю, наслаждается третьим с утра воркотливым, сдержанно-веселым разговором по телефону). Что ж, будем дальше нащупывать и уповать. Как луч, проскальзываю в гостиную и устанавливаю, что радио молчит (между тем как мамаша все еще говорит с миссис Чатфильд или миссис Гамильтон, очень приглушенно, улыбаясь, рдея, прикрывая ладонью свободной руки трубку, отрицая и намекая, что не совсем отрицает забавные слухи о квартиранте, ах, перестаньте, и все это нашептывая так задушевно, как никогда не делает она, эта отчетливая дама, в обыкновенной беседе). Итак, моей нимфетки

просто нет в доме! Упорхнула! Радужная ткань обернулась всего лишь серой от ветхости паутиной, дом пуст, дом мертв. Вдруг – сквозь полуоткрытую дверь нежный смешок Лолиты: «Не говорите маме, но я съела весь ваш бекон». Но когда я выскакиваю на площадку, ее уже нет. Лолита, где ты? Поднос с моим утренним кофе, заботливо приготовленный хозяйкой и ждущий, чтобы я его внес с порога в постель, глядит на меня, беззубо осклабясь. Лола! Лолита!

Вторник. Опять тучи помешали пикнику на – недосыгаемом – озере. Или это кознедействует Рок? Вчера я примерял перед зеркалом новую пару купальных трусиков.

Среда. Сегодня Гейзиха, в тайёре, в башмаках на низких каблуках, объявила, что едет в город купить подарки для приятельницы подруги и предложила мне присоединиться, потому что я, мол, так чудно понимаю в материях и духах. «Выберите ваше любимое обольщение», промурлыкала она. Как мог уклониться Гумберт, будучи хозяином парфюмерной фирмы? Она загнала меня в тупик – между передним крыльцом и автомобилем. «Поторопитесь!», крикнула она, когда я стал чересчур старательно складывать свое крупное тело, чтобы влезть в машину (все еще отчаянно придумывая, как бы спастись). Она уже завела мотор и приличными даме словами принялась проклинать пятившийся и поворачивавший грузовик, который только что привез ледащей старухе напротив новенькое кресло на колесах; но тут резкий голосок моей Лолиты раздался из окна гостиной: «Эй, вы! Куда вы? Я тоже еду! Подождите меня!» – «Не слушайте!», взвизгнула Гейзиха (причем нечаянно остановила мотор). Между тем, на беду моей прекрасной автомедонше, Ло уже теребила ручку двери, чтобы взлезть с моей стороны.

«Это возмутительно», начала Гейзиха, но Ло уже втиснулась, вся трепеща от удовольствия. «Подвиньтесь ваш зад», обратилась она ко мне. «Ло!» воскликнула Гейзиха (покосившись на меня в надежде, что прогоню грубиянку). «Ло-барахло», сказала Ло (не в первый раз), дернувшись назад, как и я дернулся, оттого что автомобиль ринулся вперед. «Совершенно недопустимо», сказала Гейзиха, яростно переходя во вторую скорость, «чтобы так хамила девчонка. И была бы так навязчива. Ведь она отлично знает, что лишняя. И притом нуждается в ванне».

Суставами пальцев моя правая рука прилегала к синим ковбойским штанам девчонки. Она была босая, ногти на ногах хранили следы вишневого лака, и поперек одного из них, на большом пальце, шла полоска пластыря. Боже мой, чего бы я не дал, чтобы тут же, немедленно, прильнуть губами к этим тонкокостным, длиннопалым, обезьяньим ногам! Вдруг ее рука скользнула в мою, и без ведома нашей дуэньи я всю дорогу до магазина держал и гладил и тискал эту горячую лапку. Крылья носа у нашей марленообразной шоферши блестели, потеряв или спалив свою порцию пудры, и она не переставая вела изящный монолог по поводу городского движения, и в профиль улыбалась, и в профиль надувала губы, и в профиль хлопала крашеными ресницами; я же молился – увь, безуспешно, – чтобы мы никогда не доехали.

Мне больше нечего сообщить, кроме того, что, во-первых, собравшись домой, большая Гейзиха велела маленькой сесть сзади, а во-вторых, что она решила оставить выбранные мной духи для мочек своих собственных изящных ушей.

Четверг. Мы расплачиваемся бурей и градом за тропическое начало месяца. В одном из томов «Энциклопедии для Юношества» я нашел карту

Соединенных Штатов и листок тонкой бумаги с начатым детской рукой абрисом этой карты; а на обратной стороне, против неоконченных очертаний Флориды, оказалась мимеографическая копия классного списка в Рамздэльской гимназии. Это лирическое произведение я уже знаю наизусть.

Анджель, Грация
Аустин, Флойд
Байрон, Маргарита
Биэль, Джэк
Биэль, Мэри
Бук, Даниил
Вилльямс, Ральф
Виндмюллер, Луиза
Гавель, Мабель
Гамильтон, Роза
Гейз, Долорес
Грац, Розалина
Грин, Луцинда
Гудэйль, Дональд
Дункан, Вальтер
Камель, Алиса
Кармин, Роза
Кауан, Джон
Кауан, Марион
Кларк, Гордон
Мак-Кристал, Вивиан
Мак-Ку, Вирджиния
Мак-Фатум, Обрэй
Миранда, Антоний
Миранда, Виола
Найт, Кеннет
Розато, Эмиль
Скотт, Дональд
Смит, Гэзель

Тальбот, Эдвин
Тальбот, Эдгар
Уэн, Лулл
Фальтер, Тэд
Фантазия, Стелла
Флейшман, Моисей
Фокс, Джордж
Чатфильд, Филлис
Шерва, Олег
Шеридан, Агнеса
Шленкер, Лена

Поэма, сущая поэма! Так странно и сладко было найти эту «Гейз, Долорес» (ее!) в живой беседке имен, под почетным караулом роз, стоящую, как сказочная царевна, между двух фрейлин! Стараюсь проанализировать щекотку восторга, которую я почувствовал в становом хребте при виде того имени среди прочих имен. Что тут волнует меня – до слез (горячих, опаловых, густых слез, проливаемых поэтами и любовниками) – что именно? Нежная анонимность под черным кружевом мантильи («Долорес»)? Отвлеченность перестановки в положении имени и фамилии, чем-то напоминающая пару длинных черных перчаток или маску? Не в этом ли слове «маска» кроется разгадка? Или всегда есть наслаждение в кружевной тайне, в струящейся вуали, сквозь которую глаза, знакомые только тебе, избраннику, мимоходом улыбаются тебе одному? А кроме того, я могу так ясно представить себе остальную часть этого красочного класса вокруг моей дымчато-розовой, долорозовой голубки. Вижу Грацию Анджелъ и ее спелые прыщики; Джинни Мак-Ку и ее отсталую ногу; Кларка, изнуренного онанизмом; Дункана, зловонного шута; Агнесу с ее изгрызанными ногтями; Виолу с угреватым лицом и упругим бюстом; хорошенькую Розалину;

темноволосую Розу; очаровательную Стеллу, которая дает себя трогать чужим мужчинам; Вилльямса, задиру и вора; Флейшмана, которого жалею, как всякого изгоя. А вот среди них – она, потерянная в их толпе, сосущая карандаш, ненавидимая наставницами, съедаемая глазами всех мальчишек, направленными на ее волосы и шею, *моя Лолита*.

Пятница. Мечтаю о какой-нибудь ужасающей катастрофе. О землетрясении. О грандиозном взрыве. Ее мать неопратно, но мгновенно и окончательно изъята вместе со всеми остальными людьми на много миль вокруг. Лолита подвывает у меня в объятиях. Освобожденный, я обладаю ею среди развалин. Ее удивление. Мои объяснения. Наглядные примеры, сопровождаемые животными звуками. Все это досужие, дурацкие вымыслы! Не будь Гумберт трусом, он бы мог потешиться ею мерзейшим образом (воспользовавшись ее посещениями – вчера, например, когда она снова была у меня, показывала свои рисунки – образцы школьного искусства). Гумберт Смелый мог бы предложить ей взятку без всякого риска. Человек же попроще – и попрacticнее – здраво удовлетворился бы коммерческими эрзацами, но для этого нужно знать, куда обратиться, а я не знаю. Несмотря на мужественную мою наружность, я ужасно робок. Моя романтическая душа вся трясется от какого-то липкого озноба при одной мысли, что можно нарваться на грязную ужасную историю. Вспоминаются мне похабные морские чудовища, кричавшие «Mais allez-y, allez-y!», Аннабелла, подпрыгивающая на одной ноге, чтобы натянуть трусики; и я, в тошной ярости, пытающийся ее заслонить.

То же число, но позже, гораздо позже. Я зажег свет – хотелось записать сон. Происхождение его мне ясно.

За обедом Гейзиха изволила объявить, что поскольку метеорологическое бюро обещает солнце на конец недели, мы поедем на озеро в воскресенье после церкви. Лежа в постели и перед сном распаляя себя мечтами, я обдумывал окончательный план, как бы получше использовать предстоящий пикник. Я вполне отдавал себе отчет в том, что мамаша Гейз ненавидит мою голубку за ее увлечение мной. Я замышлял так провести день на озере, чтобы ублажить и мамашу. Решил, что буду разговаривать только с ней, но в благоприятную минуту скажу, что оставил часики или темные очки вон там в перелеске – и немедленно углублюсь в чащу с моей нимфеткой. Тут явь стушевалась, и поход за очками на Очковом озере превратился в тихую маленькую оргию со странно опытной, веселенькой и покладистой Лолитой, ведущей себя так, как мой разум знал, что она отнюдь не могла бы себя вести в действительности. На заре я проглотил снотворную пилюлю и увидел сон, оказавшийся не столько продолжением, сколько пародией моего мечтания. Я увидел с многозначительной ясностью озеро, которого я никогда еще не посещал: оно было подернуто пеленой изумрудного льда, в котором эскимос с выщербленным оспой лицом тщетно старался киркой сделать прорубь, хотя по щебеночным его берегам цвели импортные олеандры и мимозы. Не сомневаюсь, что доктор Бианка Шварцман вознаградила бы меня целым мешком австрийских шиллингов, ежели бы я прибавил этот либидосон к ее либидосье. К сожалению, остальная его часть была откровенно эклектической. Гейзиха и Гейзочка ехали верхом вокруг озера, и я тоже ехал, прилежно подскакивая раскорякой, хотя между ногами вместо лошади был всего лишь упругий воздух – небольшое упущение, плод рассеянности режиссера сна.

Суббота. Сердце у меня все еще колотится. Я все еще извиваюсь и тихонько мычу от вспоминаемой неловкости.

Вид со спины. Полоска золотистой кожи между белой майкой и белыми трусиками. Перегнувшись через подоконник, она обрывает машинально листья с тополя, достигающего до окна, увлеченная стремительной беседой с мальчиком, разносящим газеты (кажется, Кеннет Найт), который стоит внизу, только что пустив свернутый «Рамздэль Джорнал» звучным, точно рассчитанным швырком на ступень нашего крыльца. Я начал к ней подкрадываться «искалеченной караморой», как выражаются пантомимисты. Мои конечности были выгнутыми поверхностями, между которыми – скорее, чем на которых – я медленно подползал, пользуясь каким-то нейтральным средством передвижения: Подбитый Паук Гумберт. Мне потребовалось бог знает сколько времени, чтобы добраться до нее. Я ее видел как бы через суживающийся конец подзорной трубы и к ее тугому задку приближался, как паралитик с бескостными, вывороченными членами, движимый ужасным напряжением воли. Наконец я оказался как раз позади нее; но тут мне явилась несчастная мысль – выказать мнимое озорство – тряхнуть ее за шиворот, что ли, – дабы скрыть свою настоящую игру, и она кратко и визгливо сказала: «Отстаньте!» (что было прегрубо), и, жутко осклабясь, Гумберт Смиренный отступил, меж тем как дрянная девчонка продолжала верещать, склоняясь над улицей.

Но теперь послушайте, что произошло потом. После завтрака я полулежал в низком садовом кресле, пытаюсь читать. Вдруг две ловкие ладошки легли мне на глаза: это она подкралась сзади, как бы повторяя, в порядке балетных сцен, мой утренний маневр. Ее пальцы, старавшиеся загородить солнце, просвечивали

кармином, и она судорожно хохотала и дергалась так и сляк, пока я закидывал руку то в сторону, то назад, не выходя при этом из лежачего положения. Я проезжал рукой по ее быстрым и как бы похотывающим ногам, и книга соскользнула с меня, как санки, и мистрис Гейз, прогуливаясь, подошла и снисходительно сказала: «А вы просто шлепните ее хорошенько, если она вам мешает в ваших размышлениях. Как я люблю этот сад», продолжала она без восклицательного знака. «А это солнце, разве это не рай» (вопросительный знак тоже отсутствует). И со вздохом притворного блаженства несносная дама опустилась на траву и загляделась на небо, опираясь на распыленные за спиной руки, и вдруг старый серый теннисный мяч прыгнул через нее, и из дома донесся несколько надменный голос Лолиты: «Pardonne, maman. Я не в тебя метила». Разумеется, нет, моя жаркая, шелковистая прелесть!

На этом кончались записи в дневнике.

Из них следует, что, несмотря на всю изобретательность дьявола, схема была ежедневно та же: он начинал с того, что соблазнял меня, а затем перечил мне, оставляя меня с тупой болью в самом корне моего состава. Я знал точно, что я хотел сделать и как это сделать, не нарушая чистоты маленькой девочки. В конце концов у меня уже был некоторый опыт за долгие годы обращения с собственной манией. Мне случалось вприглядку обладать испещренными светотенью нимфетками в публичных парках; случалось протискиваться с осмотрительностью гнусного сластолюбца в тот теснейший, теплейший конец городского автобуса, где повисала на ремнях орава школьников. Но теперь, в продолжение почти трех недель, всем моим жалким ухищрениям чинились препятствия. Виновницей этих препон бывала обычно Гейзиха (которая, да отметит читатель, скорее опасалась, как бы Лолита не получила удовольствия от общения со мной, чем того, чтобы я наслаждался Лолитой). Дикая страсть, которая разрослась во мне к этой нимфетке – к первой в жизни нимфетке, до которой я, наконец, мог доскрестись неуклюжими, ноющими, робкими когтями, – меня бы несомненно загнала опять в санаторию, кабы дьявол не смекнул, что ему надобно мне дать небольшое удовлетворение, ежели он желает, чтобы я ему еще послужил игралищем.

Читатель также заметил и другое: занятный мираж озера. Было бы логично со стороны мистера Мак-Фатума (как хочу наречь моего дьявола) приготовить мне небольшой гостинец на обетованном бережку, в

предусмотренном сосняке. На самом-то деле в затее Гейзихи крылся подвох: она не предупредила меня, что Розочка Гамильтон (прехорошенькая смуглянка) тоже поедет на пикник и что нимфетки будут шептаться в сторонке, и играть в сторонке, и веселиться совершенно отдельно от нас – между тем как мистрис Гейз и ее красавец жилец будут чинно беседовать в полураздетом виде вдали от любопытных глаз. Глаза все же подсматривали, и языки болтали.

Что за диковинная штука – жизнь! Мы норовим восстановить против себя как раз те силы рока, которые мы хотели бы задобрить. Перед моим приездом моя хозяйка предполагала позвать старую деву по имени Фален (ее мать когда-то служила у Гейзихи в семье кухаркой), чтобы та поселилась с Лолитой и мной, между тем как сама хозяйка, конторщица по натуре, нашла бы себе службу в большом городе. Она представила себе все устройство очень ясно: въезжает сутулый, в очках, герр Гумберт со своими среднеевропейскими сундуками и принимается обрастать пылью в дебрях дома, заслонившись грудой ветхих книг; никем не любимая неказистая дочка находится под строгим присмотром мисс Фален, которая однажды, в 1944 году, уже имела Ло под своим канючим крылом (Ло вспоминала то лето с дрожью возмущения), а мистрис Гейз служит в элегантной фирме. Но довольно незамысловатое происшествие помешало выполнению плана: мисс Фален сломала себе бедро в Саванне (Джоржия) в самый день моего прибытия в Рамздэль.

Воскресный день, после уже описанной субботы, выдался столь же погожий, как предсказывало метеорологическое бюро. Выставив на стул, стоявший за дверью, поднос с остатками моего утреннего завтрака (его полагалось моей доброй квартирохозяйке убрать, когда ей будет удобно), я подкрался к балюстраде площадки в своих потрепанных ночных туфлях (единственное, что есть у меня потрепанного), прислушался и выяснил следующее.

Был опять скандал. Мистрис Гамильтон сообщила по телефону, что у ее дочки «температура». Мистрис Гейз сообщила своей дочке, что, значит, пикник придется отложить. Пылкая маленькая Гейз сообщила большой холодной Гейзихе, что если так, то она не поедет с нею в церковь. Мать сказала: «Отлично» – и уехала одна.

На площадку я вышел сразу после бритья, с мылом в ушах, все еще в белой пижаме с васильковым (не лиловым) узором на спине. Я немедленно стер мыльную пену, надушил волосы на голове и под мышками, надел фиолетовый шелковый халат и, нервно напевая себе под нос, отправился вниз в поисках Лолиты.

Хочу, чтобы мои ученые читатели приняли участие в сцене, которую собираюсь снова разыграть; хочу, чтобы они рассмотрели каждую деталь и сами убедились в том, какой осторожностью, каким целомудрием пропитан весь этот мускатно-сладкий эпизод – если к нему отнести с «беспристрастной симпатией», как выразился в частной беседе со мной мой адвокат. Итак, начнем. Передо мной – нелегкая задача.

Главное действующее лицо: Гумберт Мурлыка. Время действия: воскресное утро в июне. Место: залитая солнцем гостиная. Реквизит: старая полосатая

тахта, иллюстрированные журналы, граммофон, мексиканские безделки (покойный Гарольд Е. Гейз – царствие небесное добряку! – зачал мою душеньку в час сиэсты, в комнате с голубыми стенами, во время свадебного путешествия в Вера-Круц, и по всему дому были теперь сувениры, включая Долорес). На ней было в тот день прелестное ситцевое платьице, которое я уже однажды видел, розовое, в темно-розовую клетку, с короткими рукавами, с широкой юбкой и тесным лифом, и в завершение цветной композиции, она ярко покрасила губы и держала в пригоршне великолепное, банальное, эдемски-румяное яблоко. Только носочки и шлепанцы были невыходные. Ее белая воскресная сумка лежала, брошенная подле граммофона.

Сердце у меня забилося барабанным боем, когда она опустилась на диван рядом со мной (юбка воздушно вздулась, опала) и стала играть глянцеви́тым плодом. Она кидала его вверх, в солнечную пыль, и ловила его, производя плещущий, полированный, полый звук.

Гумберт Гумберт перехватил яблоко.

«Отдайте!», взмолилась она, показывая мрамористую розовость ладоней. Я возвратил «Золотое Семечко». Она его схватила и укусила, и мое сердце было как снег под тонкой алой кожицей, и с обезьяньей проворностью, столь свойственной этой американской нимфетке, она выхватила у меня журнал, который я машинально раскрыл (жаль, что никто не запечатлел на киноплёнке любопытный узор, вензелеобразную связь наших одновременных или перекрывающих друг друга движений). Держа в одной руке изуродованный плод, нисколько не служивший ей помехой, Лолита стала быстро и бурно листать журнал, ища картинку, которую хотела показать Гумберту. Наконец нашла. Изображая интерес, я так близко придвинул к ней голову, что ее волосы коснулись моего виска и голая ее рука мимоходом задела мою щеку, когда она запястьем

отерла губы. Из-за мреющей мути, сквозь которую я смотрел на изображенный в журнале снимок, я не сразу реагировал на него, и ее коленки нетерпеливо потерлись друг о дружку и стукнулись. Снимок проступил сквозь туман: известный художник-сюрреалист навзничь на пляже, а рядом с ним, тоже навзничь, гипсовый слепок с Венеры Милосской, наполовину скрытый песком. Надпись гласила: «Замечательнейшая за Неделю Фотография». Я молниеносно отнял у нее мерзкий журнал. В следующий миг, делая вид, что пытается им снова овладеть, она вся навалилась на меня. Поймал ее за худенькую кисть. Журнал прыгнул на пол, как спугнутая курица. Лолита вывернулась, отпрянула и оказалась в углу дивана справа от меня. Затем, совершенно запросто, дерзкий ребенок вытянул ноги через мои колени.

К этому времени я уже был в состоянии возбуждения, граничащего с безумием; но у меня была также и хитрость безумия. По-прежнему сидя на диване, я нашел способ при помощи целой серии осторожнейших движений пригнать мою замаскированную похоть к ее наивным ногам. Было нелегко отвлечь внимание девочки, пока я пристраивался нужным образом. Быстро говоря, отставая от собственного дыхания, нагоняя его, выдумывая внезапную зубную боль, дабы объяснить перерыв в лепете – и неустанно фиксируя внутренним оком маниака свою дальнюю огненную цель, – я украдкой усилил то волшебное трение, которое уничтожало в иллюзорном, если не вещественном, смысле физически неустранимую, но психологически весьма непрочную преграду (ткань пижамы да полу халата) между тяжестью двух загорелых ног, покоящихся поперек нижней части моего тела, и скрытой опухолью неудобосказуемой страсти. Среди моего лепетания мне случайно попало нечто

механически поддающееся повторению: я стал декламировать, слегка коверкая их, слова из глупой песенки, бывшей в моде в тот год – «О Кармен, Карменситочка, вспомни-ка там... и гитары, и бары, и фары, тратам», – автоматический вздор, возобновлением и искажением которого – то есть особыми чарами косноязычия – я околдовывал *мою* Кармен и все время смертельно боялся, что какое-нибудь стихийное бедствие мне вдруг помешает, вдруг удалит с меня золотое бремя, в ощущении которого сосредоточилось все мое существо, и эта боязнь заставляла меня работать на первых порах слишком поспешно, что не согласовалось с размеренностью сознательного наслаждения. Фанфары и фары, тарабары и бары постепенно перенимались ею: ее голосок подхватывал и поправлял перевираемый мною мотив. Она была музыкальна, она была налита яблочной сладостью. Ее ноги, протянутые через мое живое лоно, слегка ерзали; я гладил их. Так полулежала она, развалясь в правом от меня углу дивана, школьница в коротких белых носочках, пожирающая свой незапамятный плод, поющая сквозь его сок, теряющая туфлю, потирающая пятку в сползающем со щиколки носке о кипу старых журналов, нагроможденных слева от меня на диване, – и каждое ее движение, каждый шарк и колыхание помогали мне скрывать и совершенствовать тайное осязательное взаимоотношение – между чудом и чудовищем, между моим рвущимся зверем и красотой этого зыбкого тела в этом девственном ситцевом платице.

Под беглыми кончиками пальцев я ощущал волосы, легонько ерошившиеся вдоль ее голеней. Я терялся в едком, но здоровом зное, который как летнее марево обвивал Доллиньку Гейз. Ах, пусть останется она так, пусть навеки останется... Но вот, она потянулась, чтобы швырнуть сердцевину истребленного яблока в камин,

причем ее молодая тяжесть, ее бесстыдные невинные бедра и круглый задок слегка переместились по отношению к моему напряженному, полному муки, работающему под шумок лону, и внезапно мои чувства подверглись таинственной перемене. Я перешел в некую плоскость бытия, где ничто не имело значения, кроме настоящего счастья, вскипающего внутри моего тела. То, что началось со сладостного растяжения моих сокровенных корней, стало горячим зудом, который *теперь* достиг состояния совершенной надежности, уверенности и безопасности – состояния, не существующего в каких-либо других областях жизни. Установившееся глубокое, жгучее наслаждение уже было на пути к предельной судороге, так что можно было замедлить ход, дабы продлить блаженство. Реальность Лолиты была благополучно отменена. Подразумеваемое солнце пульсировало в подставных тополях. Мы с ней были одни, как в дивном вымысле. Я смотрел на нее, розовую, в золотистой пыли, на нее, существующую только за дымкой подвластного мне счастья, не чующую его и чуждую ему, и солнце играло у нее на губах, и губы ее все еще, видимо, составляли слова о «карманной Кармен», которые уже не доходили до моего сознания. Теперь все было готово. Нервы наслаждения были обнажены. Корпускулы Крауза вступали в фазу неистовства. Малейшего нажима достаточно было бы, чтобы разразилась райская буря. Я уже не был Гумберт Густопсовый, грустноглазый дог, охвативший сапог, который сейчас отпихнет его. Я был выше смехотворных злоключений, я был вне досягаемости кары. В самодельном моем серале я был мощным, сияющим турком, умышленно, свободно, с ясным сознанием свободы, откладывающим то мгновение, когда он изволит совсем овладеть самой молодой, самой хрупкой из своих рабынь. Повисая над краем этой сладострастной бездны (весьма искусное

положение физиологического равновесия, которое можно сравнить с некоторыми техническими приемами в литературе и музыке), я все повторял за Лолитой случайные, нелепые слова – Кармен, карман, кармин, камин, аминь, – как человек, говорящий и смеющийся во сне, а между тем моя счастливая рука кралась вверх по ее солнечной ноге до предела, дозволенного тенью приличия. Накануне она с размаху влетела в громоздкий ларец, стоявший в передней, и теперь я говорил, задыхаясь: «Смотри, смотри, что ты наделала, ах смотри!» – ибо, клянусь, был желтоватый синяк на ее прелестной нимфетовой ляжке, которую моя волосатая лапа массировала и медленно обхватывала, – и так как панталончики у нее были самого зачаточного рода, ничто, казалось, не могло помешать моему мускулистому большому пальцу добраться до горячей впадинки ее паха – как вот, бывает, щекочешь и ласкаешь похохатывающего ребенка – вот так и только так, и в ответ со внезапно визгливой ноткой в голосе она воскликнула: «Ах, это пустяк!», и стала корячиться и извиваться, и запрокинула голову, и прикусила влажно блестящую нижнюю губу, полуотворотившись от меня, и мои стонущие уста, господа присяжные, почти дотронулись до ее голой шеи, покамест я раздавливал об ее левую ягодицу последнее содрогание самого длительного восторга, когда-либо испытанного существом человеческим или бесовским.

Тотчас после этого (точно мы до того боролись, а теперь моя хватка разжалась) она скатилась с тахты и вскочила на ноги – вернее, на одну ногу, – для того чтобы схватить трубку оглушительно громкого телефона, который, может быть, уже век звонил, пока у меня был выключен слух. Она стояла и хлопала ресницами, с пылающими щеками, с растрепанными кудрями, и глаза ее скользили по мне, так же как скользили они по мебели, и пока она слушала или

говорила (с матерью, приказывающей ей явиться к Чатфильдам, пригласившим обеих к завтраку – причем ни Ло, ни Гум не знали еще, что несносная хлопотунья замышляла), она все постукивала по краю телефонного столика туфлей, которую держала в руке. Слава тебе боже, девчонка ничего не заметила.

Вынув многоцветный шелковый платок, на котором ее блуждающий взгляд на миг задержался, я стер пот со лба и, купаясь в блаженстве избавления от мук, привел в порядок свои царственные ризы. Она все еще говорила по телефону, торгуясь с матерью (Карменситочка хотела, чтобы та за ней заехала), когда, все громче распевая, я взмахнул по лестнице и стал наполнять ванну бурливым потоком исходившей паром воды.

Тут позволю себе заодно привести слова вышеупомянутой модной песенки или, по крайней мере, то из нее, что мне запомнилось – я, кажется, никогда не знал ее по-настоящему. Так вот:

О Кармен, Карменситочка, вспомни-ка там
Таратам – таратунные струи фонтана,
И гитары, и бары, и фары, тратам,
И твои все измены, гитана!
И там город в огнях, где с тобой я бродил,
И последнюю ссору тарам – таратуя,
И ту пулю, которой тебя я убил,
Кольт, который – траторы – держу я...

(Выхватил, верно, небольшой кольт и всадил пулю крале в лоб.)

Я позавтракал в городе – давно не был так голоден. Когда вернулся, дом был еще безлолитен. Я провел день в мечтах, в замыслах, в блаженном усваивании моего утреннего переживания.

Я был горд собой: я выкрал мед оргазма, не совратив малолетней. Ровно никакого урона. Фокусник налил молока, патоки, пенистого шампанского в новую белую сумочку молодой барышни – раз, два, три, и сумка осталась неповрежденной. Так, с большой изощренностью, я вознес свою гнусную, жгучую мечту; и все же Лолита уцелела – и сам я уцелел. То существо, которым я столь неистово наслаждался, было не ею, а моим созданием, другой, воображаемой Лолитой – быть может, более действительной, чем настоящая; перекрывающей и заключающей ее; плывущей между мной и ею; лишенной воли и самознания – и даже всякой собственной жизни.

Девочка ничего не почуяла. Я ничего не сделал ей. И ничто не могло мне помешать повторить действие, которое затронуло ее так же мало, как если бы она была фотографическим изображением, мерцающим на экране, а я – смиренным горбуном, онанирующим в потемках. День медленно протекал, молчаливый и спелый, и высокие, налитые соком деревья, казалось, были посвящены в тайну.

Желание опять притереться к ней начинало еще сильнее, чем прежде, терзать меня. «Пусть она скоро вернется» – молился я про себя, обращаясь к заемному богу – «и пускай, пока мамаша на кухне, повторится сцена тахты – пожалуйста! – я так мерзко обожаю ее!»

Нет, «мерзко» не то слово. Ликование, которое возбуждало во мне предвкушение повторных утех, было

не мерзким, а жалким. Жалким – ибо, невзирая на неутолимый жар чувственного позыва, я намерен был, с искреннейшим рвением и предусмотрительностью, оградить чистоту этого двенадцатилетнего ребенка.

А теперь полюбуйте вознаграждением, полученным мной за страдания. Лолита не вернулась с матерью – пошла с Чатфильдами в кино. Обеденный стол оказался накрытым на двоих, с особым изяществом: горели настольные свечи (скажите пожалуйста!). В этой жеманной ауре Гейзиха легонько потрагивала серебро по обеим сторонам тарелки, как бы касаясь клавиш, и улыбалась пустой своей тарелке (соблюдала диету), и спрашивала, нравится ли мне салат (сделанный по рецепту, вычитанному из дамского журнала). Хотела тоже знать, по вкусу ли мне холодная говядина. Говорила, что день провела преприятно. Прекрасный человек – эта мистрис Чатфильд. Филлида (дочка) едет завтра в летний лагерь для девочек. На три недельки. Решено Лолиту отправить туда же в ближайший четверг. Вместо того, чтобы ждать до июля, как было намечено сначала. Пробудет там дольше Филлиды. До самого начала школьных занятий. Хорошенькая перспектива, бедное мое сердце!

Ах, как это меня потрясло! Ведь это значило, что мою душеньку у меня отнимают как раз, когда я втайне сделал ее своей. Чтобы объяснить мрачное настроение, овладевшее мной, мне пришлось сослаться на ту же зубную боль, которую я уже симулировал утром. Зуб, верно, был коренной, громадный, с нарывом, величиной с компотную вишню.

«У нас тут в городе», сказала Гейзиха, «есть отличный дантист. А именно наш сосед, доктор Куильти, родственник известного драматурга. Вы думаете, пройдет? Ну, как желаете. Осенью ей будет посажена на передние зубы “цепка”, как говаривала моя мать. Может быть, это обуздает нашу Лолиточку.

Боюсь, она вам ужасно мешала все эти дни. И я предвижу два-три довольно бурных денька, до того как она отбудет. Она сперва решительно отказалась ехать, и, признаюсь, я оставила ее у Чатфильдов, оттого что боюсь с ней оставаться с глазу на глаз, пока она в таком настроении. Кино, может быть, ее умиротворит. Филлида – чудная девчурка, и нет никакой причины Лолите недолюбливать ее. Право, мосье, я всей душой сочувствую вашей зубной боли. Было бы куда разумнее разрешить мне снестись с Айвором Куильти первым делом завтра утром, если будет еще болеть. И вы знаете, я считаю, что летний лагерь настолько полезнее для девчонки – настолько осмысленнее, как я всегда говорю, чем бить баклуши на пригородном газоне и таскать у мамы губной карандаш, да мешать застенчивому джентльмену заниматься, да еще закатывать сцену по всякому ничтожнейшему поводу».

«А вы совсем уверены», проговорил я наконец (придумав слабое, плачевно слабое возражение), «что она там не будет несчастна?»

«Пускай только попробует быть несчастной. Впрочем, жизнь там вовсе не состоит из сплошного развлечения. Лагерем руководит Шерли Хольмс – слышали, наверное, – написала книгу, называется “Школьницы у костра”. Лагерная жизнь поможет Долорес Гейз развиваться во многих смыслах – в смысле здоровья, характера, образования и особенно в смысле сознания ответственности перед другими. Хотите, возьмем эти свечи и перейдем на веранду? Или вы предпочитаете лечь в постельку и принять что-нибудь для облегчения боли?»

Принять что-нибудь для облегчения боли...

На другой день они отправились в город покупать нужные для лагерного лета вещи. Всякая обновка действовала на Ло волшебным образом. За обедом она, казалось, вернулась к своей обычной насмешливой норме. Сразу после обеда она пошла к себе, чтобы погрузиться в книжки-комиксы, приобретенные для дождливых дней в «Кувшинке» – или «Ку», как сокращенно называли лагерь: она так основательно пересмотрела их до отъезда, что потом не взяла их с собой.

Я отправился тоже в свое логовище и сел писать письма. Мой план теперь был поехать к морю, а затем, к началу учебного года, возобновить свое пребывание в Гейзовском доме, ибо я уже знал, что не могу жить без этой девочки.

Во вторник они снова ходили за покупками, и мне было поручено подойти к телефону, если начальница лагеря позвонила бы в их отсутствие. Действительно, она позвонила, и несколько недель спустя у нас с ней был случай вспомнить нашу приятную беседу. В этот вторник Ло обедала у себя в комнате. Повздорив опять с матерью, она с час прорыдала и теперь, как бывало и раньше, не хотела явиться передо мной с заплаканными глазами: при особенно нежном цвете лица, черты у нее после бурных слез расплывались, припухали – и становились болезненно соблазнительными. Ее ошибочное представление о моих эстетических предпочтениях чрезвычайно огорчало меня, ибо я просто обожаю этот оттенок боттичеллиевой розовости, эту яркую кайму вдоль воспаленных губ, эти мокрые, свалывшиеся ресницы, а кроме того, ее застенчивая причуда меня, конечно, лишала многих возможностей под фальшивым видом утешения...

Однако дело обстояло не так просто, как я полагал. Когда вечером мадам Гейз и я сидели в темноте на веранде (грубиян-ветер потушил ее алые свечи), она с невеселым смешком сказала: «Признаюсь, я объявила Лолите, что ее любимейший Гумберт полностью одобряет лагерный проект, и вот она решила закатить настоящий скандал под предлогом, что будто мы с вами желаем отделаться от нее. Но настоящая причина в другом: я ей сказала, что завтра мы с ней обменяем на что-нибудь поскромнее некоторые слишком фасонистые ночные вещи, которые она заставила меня ей купить. Моя капризница видит себя звездочкой экрана; я же вижу в ней здорового, крепкого, но удивительно некрасивого подростка. Вот это, я думаю, лежит в корне наших затруднений».

В среду мне удалось на несколько секунд залучить Лолиту: это случилось на площадке лестницы, где, одетая в нательную фуфайку и белые, запачканные сзади в зеленое, трусики, она рылась в сундуке. Я произнес что-то намеренно дружеское и смешное, но она всего лишь презрительно фыркнула, не глядя на меня. Окаянный, умирающий Гумберт неуклюже погладил ее по копчику, и девчонка ударила его, пребольно, одной из сапожных колодок покойного господина Гейза. «Подлый предатель», сказала она, между тем как я побрел вниз по лестнице, потирая плечо с видом большой обиды. Она не соизволила обедать с Гумочкой и мамочкой: вымыла волосы и легла в постель вместе со своими дурацкими книжонками; а в четверг бесстрастная мать повезла ее в лагерь «Ку».

Как писали авторы почище моего: «Читатель легко может вообразить...» и так далее. Впрочем, я, пожалуй, подтолкну пинком в зад это хваленое воображение. Я знал, что влюбился в Лолиту навеки; но я знал и то, что она не навеки останется Лолитой: 1-го января ей стукнет тринадцать лет. Года через два она перестанет

быть нимфеткой и превратится в «молодую девушку», а там в «колледж-герл» – т. е. «студентку» – гаже чего трудно что-нибудь придумать. Слово «навек» относилось только к моей страсти, только к той Лолите, которая неизменно отражалась в моей крови. Лолиту же, подвздошные косточки которой еще не раздались, Лолиту, доступную сегодня моему осязанию и обонянию, моему слуху и зрению, Лолиту, резкоголосую и блестяще-русую, с подровненными спереди и волнистыми с боков, а сзади локонами свисающими волосами, Лолиту, у которой шейка была такая горячая и липкая, а лексикончик такой вульгарный – «отвратно», «превкусно», «первый сорт», «типчик», «дрипчик» – эту Лолиту, мою Лолиту бедный Катулл должен был потерять навеки.

Как же в таком случае мне прожить без нее два месяца – летних, бессонных? Целых два месяца, изъятых из двух оставшихся годиков нимфетства! Может быть – думал я – переодеться мне мрачной, старомодной девицей, нескладной мадемуазель Гумберт, да разбить свою палатку около лагеря «Ку» в надежде, что его рыжие от солнца нимфетки затараторят: «Ах, давайте примем к себе в общежитие эту беженку с глубоким голосом!», – да и потащут к своему костру грустную, робко улыбающуюся Berthe au Grand Pied. Берта разделит койку с Долорес Гейз!

Досужие, сухие сны. Двум месяцам красоты, двум месяцам нежности предстояло быть навеки промотанными, и я не мог сделать против этого ничего, *mais rien*.

Одну каплю редкостного меда этот четверг все-таки хранил для меня в своей желудевой чашке. Госпожа Гейз должна была отвезти дочку в лагерь рано утром, и когда разные звуки, связанные с отъездом, донеслись до меня, я скатился с кровати и высунулся в окно. Внизу под тополями автомобиль уже тарахтел. На тротуаре

стояла Луиза, заслонив глаза рукой, словно маленькая путешественница уже удалялась в низкий блеск утреннего солнца. Этот жест оказался преждевременным. «Поторопись!», крикнула Гейзиха, сидевшая за рулем. Моя Лолита, которая уже наполовину влезла в автомобиль и собралась было захлопнуть дверцу, опустить при помощи винтовой ручки оконное стекло, помахать Луизе и тополям (ни ее, ни их Лолите не суждено было снова увидеть), прервала течение судьбы: она взглянула вверх – и бросилась обратно в дом (причем мать неистово орала ей вслед). Мгновение спустя я услышал шаги моей возлюбленной, бежавшей вверх по лестнице. Сердце во мне увеличилось в объеме так мощно, что едва ли не загородило весь мир. Я подтянул пижамные штаны и отпахнул дверь; одновременно добежала до меня Лолита, топая, пыхтя, одетая в свое тончайшее платье, и вот она уже была в моих объятьях, и ее невинные уста таяли под хищным нажимом темных мужских челюстей – о, моя трепещущая прелесть! В следующий миг я услышал ее – живую, неизнасилованную – с грохотом сбегавшую вниз. Течение судьбы возобновилось. Втянулась золотистая голень, автомобильная дверца захлопнулась – приотворилась и захлопнулась попрочнее – и водительница машины, резко орудуя рулем, сопровождая извиваниями резиново-красных губ свою гневную неслышимую речь, умчала мою прелесть; между тем как не замеченная никем, кроме меня, мисс Визави, больная старуха, жившая насупротив, слабо, но ритмично махала со своей виноградом обвитой веранды.

Впадина моей ладони еще была полна гладкого, как слонобая кость, ощущения вогнутой по-детски спины Лолиты, клавишной скользкости ее кожи под легким платьем, которое моя мнущая рука заставляла ездить вверх и вниз, пока я держал девочку. Я кинулся в ее неубранную комнату, отворил дверь шкапа и окунулся в ворох ее ношеного белья. Особенно запомнилась одна розовая ткань, потертая, дырявая, слегка пахнувшая чем-то едким вдоль шва. В нее-то я запеленал огромное, напряженное сердце Гумберта. Огненный хаос уже поднимался во мне до края – однако мне пришлось все бросить и поспешно оправиться, так как в это мгновение дошел до моего сознания бархатистый голос служанки, тихо звавшей меня с лестницы. У нее было, по ее словам, поручение ко мне, и, увенчав мое автоматическое «спасибо» радушным «не за что», добрая Луиза оставила странно-чистое, без марки и без помарки, письмо в моей трясущейся руке.

«Это – признание: я люблю вас» —

так начиналось письмо, и в продолжение одной искаженной секунды я принял этот истерический почерк за каракули школьницы:

На днях, в воскресенье, во время службы (кстати, хочу пожуричь вас, нехорошего, за отказ прийти посмотреть на дивные новые расписные окна в нашей церкви), да, в это воскресенье, так недавно, когда я спросила Господа Бога, что мне делать, мне было сказано поступить так, как поступаю теперь. Другого исхода нет. Я люблю вас с первой минуты, как

увидела вас. Я страстная и одинокая женщина, и вы любовь моей жизни.

А теперь, мой дорогой, мой самый дорогой, *mon cher*, *cher Monsieur*, вы это прочли; вы теперь знаете. Посему попрошу вас, пожалуйста, *немедленно* уложить вещи и отбыть. Это вам приказывает квартирная хозяйка. Уезжайте! Вон! *Départez!* Я вернусь к вечеру, если буду делать восемьдесят миль в час туда и обратно – без крушения (впрочем, кому какое дело?), и не хочу вас застать. Пожалуйста, пожалуйста, уезжайте тотчас, *теперь же*, даже не читайте этой смешной записки до конца. Уезжайте. Прощайте.

Положение, *mon chéri*, чрезвычайно простое. Разумеется, я знаю с абсолютной несомненностью, что я для вас не значу ничего, ровно ничего. О да, вы обожаете болтать со мной (и шутить надо мною, бедной); вы полюбили наш гостеприимный дом, мне нравящиеся книги, мой чудный сад и даже проказы моей шумной дочки; но я для вас – ничто. Так? Так. Совершенное ничто. *Но* если по прочтении моего «признания» вы решили бы, как европеец и сумрачный романтик, что я достаточно привлекательна для того, чтобы вам воспользоваться моим письмом и завязать со мной «интрижку», тогда знайте, это будет преступно – преступнее, чем было бы насилие над похищенным ребенком. Видите ли, любимый, *если бы* вы решили остаться, *если бы* я вас застала тут (чего, конечно, не случится, и потому могу так фантазировать), самый факт вашего оставания мог бы быть истолкован только в одном смысле: что вы для меня хотите стать тем же, чем я хочу стать для вас –

спутником жизни, – и что вы готовы соединить навсегда свою жизнь с моей и быть отцом моей девочки.

Позвольте мне еще чуточку побродить и побродить мыслью, мой драгоценнейший, ведь я знаю, вы уже разорвали это письмо, и его куски (неразборчиво) в водоворот клозета. Мой драгоценнейший, *mon très, très cher*, какую гору любви я воздвигла для тебя в течение этого магического июня месяца! Знаю, как вы сдержанны, как много в вас «британского». Возможно, что вашу старосветскую замкнутость, ваше чувство приличия покоробит прямота бедной американочки! Вы, который скрываете ваши сильнейшие порывы, должны почесть меня бесстыдной дурочкой за то, что раскрываю так широко свое несчастное раненое сердце. В былые годы я испытала немало разочарований. Мистер Гейз был прекрасный человек, надежный и цельный, но, увы, он был на двадцать лет старше меня, так что – но не будем сплетничать о прошлом. Мой дорогой, твое любопытство должно быть полностью удовлетворено, если ты пренебрег моею просьбой и дочитал это письмо до горького конца. Впрочем, это неважно. Уничтожь его – и уезжай. Не забудь оставить ключи у себя на столе. И хоть какой-нибудь адрес, чтобы я могла вернуть двенадцать долларов, заплаченные тобой за остаток месяца. Прощай, дорогой мой. Молись за меня – если ты когда-нибудь молишься.

Ш. Г.

Вышеприведенное – это то, что помню из письма, и помню я это дословно (включая исковерканные французские термины). Письмо было по крайней мере вдвое длиннее. Я выпустил лирическое место – которое я тогда более или менее проскочил – относительно брата Лолиты, умершего двух лет от роду, когда ей было четыре года: высказывалось предположение, что я очень бы его полюбил. Что же еще там было, дайте вспомнить. Да. Допускаю, что слова «в водоворот клозета» (куда письмо в самом деле ушло) – мой собственный прозаический вклад. Она, вероятно, умоляла меня раздуть какой-нибудь специальный огонь для сожжения ее послания.

Отвращение – вот было первое мое чувство в ответ, и к нему присоединилось желание смыться. За этим последовало нечто вроде ощущения спокойной дружеской руки, опустившейся ко мне на плечо и приглашающей меня не спешить. Я послушался. Я вышел из оцепенения и увидел, что все еще нахожусь в комнате Лолиты. Реклама во всю страницу, вырванная ею из глянцевого журнала, была приколата к стене над постелью, между мордой исполнителя задушевных песенок и длинными ресницами киноактрисы. На этом цветном снимке изображен был темноволосый молодой муж. Во взгляде его ирландских глаз было что-то изможденное. Он «моделировал» халат (такого-то «дома») и держал перед собой за оба конца мостоподобный поднос (другой фирмы) с утренним завтраком на две персоны. Надпись взята была из церковного гимна, сочиненного священником Томасом Мореллем: «Вот идет он, герой-победитель». Следовало, по-видимому, предположить, что основательно побежденная новобрачная (не показанная на снимке) сидела среди подушек двуспальной постели, готовая принять свой конец подноса, но каким образом ее постельный партнер подлезет сам к ней под этот мост

без катастрофы, оставалось неясным. Рука Лолиты провела шуточную стрелку по направлению опустошенного молодого супруга и приписала большими буквами: «Г. Г.»; действительно, несмотря на небольшую разницу в возрасте, сходство было поразительным. Под этой картинкой была другая – тоже цветная фотография. На ней известный драматург самозабвенно затягивался папиросой «Дромадер». Он, мол, всегда курил «дромки». Он лишь слегка походил лицом на Г. Г. Ниже была Лолитина девственная постель, усеянная лубочными журнальчиками. Эмаль сошла там и сям с железных штанг изголовья, оставив кругловатые проплешины на белом фоне. Убедившись в том, что Луиза ушла восвояси, я забрался в постель Лолиты и перечел письмо.

Господа присяжные! Не могу поклясться, что некоторые действия, относившиеся, так сказать, – простите за выражение – до синицы в руке, не представлялись и прежде моему рассудку. Рассудок не удержал их в какой-либо логической форме. Но не могу поклясться, повторяю, что я этих представлений не ласкал, бывало (если позволите употребить и такое выражение), в тумане мечтаний, в темноте наваждения. Были случаи, не могли не быть случаи (я-то хорошо Гумберта знаю!), когда я как бы вчуже рассматривал возникавшую идею жениться на перезрелой вдовушке (скажем, на Шарлотте Гейз), – а именно на такой, у которой не оставалось бы никакой родни во всем мире, широко, сером – с единственной целью забрать ее маленькую дочь (Ло, Лолу, Лолиту). Я даже готов сказать моим истязателям, что, может быть, иной раз я и бросил холодный взгляд оценщика на коралловые губы Шарлотты, на ее бронзоватые волосы и преувеличенное декольте, смутно пытаюсь вместить ее в раму правдоподобной грезы. Делаю это признание под пыткой: может быть пыткой воображаемой – но тем более ужасной. Хотелось бы сделать тут отступление и рассказать вам подробнее о *ravor nocturnus*, который меня отвратительно терзал и терзает по ночам, когда застревает в мозгу случайный термин из беспорядочного чтения моего отрочества – например, *peine forte et dure* (какой гений застенка придумал это!) – или страшные, таинственные, вкрадчивые слова «травма», «травматический факт» и «фрамуга». Впрочем, моя повесть достаточно корява и без отступлений.

Уничтожив письмо и вернувшись к себе в комнату, я некоторое время размышлял, ерошил себе волосы, дефилировал в своем фиолетовом халате, стонал сквозь стиснутые зубы – и внезапно... Внезапно, господа присяжные, я почувал, что сквозь самую эту гримасу, искажавшую мне рот, усмешечка из Достоевского брезжит, как далекая и ужасная заря. В новых условиях улучшившейся видимости я стал представлять себе все те ласки, которыми походя мог бы осыпать Лолиту муж ее матери. Мне бы удалось всласть прижаться к ней раза три в день – каждый день. Испарились бы все мои заботы. Я стал бы здоровым человеком.

Легко и осторожно на коленях
Тебя держать и поцелуй отцовский
На нежной щечке запечатлевать —

как когда-то сказал английский поэт. О начитанный Гумберт!

Затем, со всевозможными предосторожностями, двигаясь как бы на мысленных цыпочках, я вообразил Шарлотту как подругу жизни. Неужели я не смог бы заставить себя подать ей в постель этот экономно разрезанный на две порции помплимус, этот бессахарный брекфаст?

Гумберт Гумберт, обливаясь потом в луче безжалостно белого света и подвергаясь окрикам и пинкам обливающихся потом полицейских, готов теперь еще кое-что «показать» (quel mot!), по мере того как он выворачивает наизнанку совесть и выдирает из нее сокровеннейшую подкладку. Я не для того намеревался жениться на бедной Шарлотте, чтобы уничтожить ее каким-нибудь пошлым, гнусным и рискованным способом, как, например, убийство при помощи пяти сулемовых таблеток, растворенных в рюмке

предобеденного хереса или чего-либо в этом роде; но в моем гулком и мутном мозгу все же позвякивала мысль, состоявшая в тонком родстве с фармацевтикой. Почему ограничивать себя тем скромно прикрытым наслаждением, которое я уже однажды испробовал? Передо мной другие образы любострастия выходили на сцену, покачиваясь и улыбаясь. Я видел себя дающим сильное снотворное средство и матери и дочери одновременно, для того чтобы ласкать вторую всю ночь безвозбранно. Дом наполнился храпом Шарлотты, Лолита едва дышала во сне, неподвижная, как будто написанный маслом портрет отроковицы. «Мама, клянусь, что Кенни ко мне никогда не притронулся!» «Ты или лжешь, Долорес, или это был ночной оборотень». Впрочем, я постарался бы не обрюхатить малютки.

Так Гумберт Выворотень грезил и волхвовал – и алое солнце желания и решимости (из этих двух и создается живой мир!) поднималось все выше, между тем как на чередующихся балконах чередующиеся сибариты поднимали бокал за прошлые и будущие ночи. Затем, говоря метафорически, я разбил бокал вдребезги и смело представил себе (ибо к тому времени я был пьян от видений и уже недооценивал природной своей кротости), как постепенно я перейду на шантаж – о, совсем легкий, дымчатый шантажик – и заставлю большую Гейзиху позволить мне общаться с маленькой, пригрозив бедной обожающей меня даме, что брошу ее, коли она запретит мне играть с моей законной падчерицей. Словом, перед такой сенсационной офертой (как выражаются коммерсанты), перед столь широкими и разнообразными перспективами я был податлив, как Адам при предварительном просмотре малоазиатской истории, заснятой в виде миража в известном плодовом саду.

А теперь запишите следующее важное замечание: художественной стороне своей натуры я дал заслонить мою коренную порядочность. Тем большего усилия воли мне потребовалось, чтобы в сих записках настроить их слог на хамский лад того дневника, который я вел еще во дни, когда госпожа Гейз была для меня всего лишь препятствием. Этого дневника уже не существует; но я почел за долг перед искусством сохранить его интонации, какими бы фальшивыми и brutальными они ни казались мне теперь. К счастью, мой рассказ достиг теперь того пункта, где я могу перестать поносить бедную Шарлотту ради ретроспективной правды.

Желая избавить бедную Шарлотту от двух-трех часов сердечного замиранья на извилистой дороге (и предотвратить, быть может, автомобильное столкновение, которое бы разбило нашу неодинаковую мечту), я очень предупредительно, но безуспешно попытался с нею снестись по телефону: позвонил в лагерь «Ку», но оказалось, что она вот уже час как выехала. Попав вместо нее на Лолиту, я сказал – трепеща и упиваясь властью над роком, – что женюсь на ее матери. Мне пришлось это повторить, так как что-то мешало ей отнестись с полным вниманием к моим словам. «Вот так здорово», проговорила она со смехом. «Когда свадьба? Погодите секундочку – тут у меня щенок – щенок занялся моим носком. Алло —». Она добавила, что, по-видимому, развлечений у нее будет уйма... И я понял, повесив трубку, что двух часов в детском лагере было достаточно, чтобы новые впечатления совершенно вытеснили из головы маленькой Лолиты образ неотразимого господина Гумберта. Впрочем, это теперь не имело значения. Получу ее обратно по истечении приличного срока после венчания. «Букет венчальный на могиле едва увянуть бы успел», как выразился бы поэт. Но я не поэт. Я всего лишь очень добросовестный историограф.

Подумавши, я осмотрел содержимое кухонного холодильника и, найдя оное чрезмерно аскетическим, отправился в город и набрал самых пряных и жирных продуктов, какие были. Купил, кроме того, спиртных напитков высокого качества да несколько сортов витаминов. Я почти не сомневался, что с помощью этих возбуждательных средств да личных своих ресурсов мне удастся предотвратить некоторый, так сказать, конфуз, который мог бы произойти от недостатка чувства, когда придет время явить могучее и нетерпеливое пламя. Снова и снова изворотливый Гумберт вызывал подобие Шарлотты, каким оно виделось в замочную скважину мужского воображения. Тело у нее было холеное и стройное, с этим никто не спорил, и, пожалуй, я мог подпереться мыслью, что она как бы старшая сестра Лолиты – если только мне не представлялись чересчур реально ее тяжелые бедра, округлые колени, роскошная грудь, грубоватая розовая кожа шеи («грубоватая» по сравнению с шелком и медом) и все остальные черты того плачевного и скучного, именуемого: «красивая женщина».

Солнце совершило свой обычный обход дома. День созрел и стал склоняться к вечеру. Я опорожнил полный стакан спиртного. И еще один. И еще. Любимый напиток мой, джинанас – смесь джина и ананасного сока – всегда удваивает мою энергию. Решил подстричь запущенный лужок в нашем саду. *Une petite attention*. Он был засорен одуванчиками, и чья-то проклятая собака – не выношу собак – загадила каменные плиты, на которых некогда стояли солнечные часы. Почти все одуванчики уже превратились из солнц в луны. Джин и Лолита играли у меня в жилах, и я чуть не упал через складные стулья, которые хотел убрать. Краснополосые зебры! Бывает такая отрыжка, которая звучит овацией – по крайней мере моя так звучала. Ветхий забор позади сада отделял его от соседских отбросов и сирени; но

никаких преград не было между передним концом нашего лужка (там, где он отлого спускался вдоль одной стороны дома) и улицей. Поэтому я мог выглядывать (с ухмылкой человека, собирающегося совершить доброе дело) возвращение Шарлотты: этот зуб следовало вырвать сразу. Валко напирая на увлекавшую меня вперед ручную косилку – причем сбритые травинки, подсакивая и словно чирикаая, поблескивали при низком солнце, – я не сводил глаз с видного мне отрезка пригородной улицы. Она загибалась к нам из-под свода огромных тенистых деревьев и затем быстро спускалась все круче и круче мимо кирпичного, виноградом увитого дома старушки Визави и ее пологого луга (значительно более опрятного, чем наш), чтобы наконец скрыться за нашим передним крыльцом, не видным мне с того места, где я радостно порывивал и трудился. Одуванчики пали. Сочный травяной дух смешивался с ананасным. Две девочки, Марион и Мабель, за чьими прохождениями туда-сюда я, бывало, следил машинальным взглядом (но кто мог заменить мою Лолиту?), прошли по направлению проспекта (откуда спускалась наша Лоун Стрит): одна шла, толкая велосипед, другая на ходу питалась из бумажного мешочка, и обе говорили во весь голос, с солнечной звонкостью. Симпатичный Томсон, атлетический негр, служивший у старушки насупротив садовником и шофером, широко улыбнувшись мне издали, крикнул, и повторно крикнул, комментируя крик жестом, что я, мол, необычно энергичен нынче. Дурак-пес, принадлежавший соседу нашему, разбогатевшему тряпичнику, бросился догонять синий автомобиль – не Шарлоттин. Та из двух девочек, что была покрасивее (Мабель, кажется), в коротких штанишках, в бюстодержателе с бридочками, которому нечего было держать, и такая ярковолосая (нимфетка, клянусь Паном!), пробежала обратно, уминая в руках

пустой бумажный мешочек, и пропала из поля зрения зеленого сего козла, зайдя за фронто́н виллы г-на и г-жи Гумберт. Автомобиль семейного типа выскочил из лиственной тени проспекта, продолжая тащить некоторую ее часть с собой, пока этот узор не распался у него на крыше, за край которой держался левой рукой, высунутой из окна, полуголый водитель машины; она промахнулась идиотским аллюром, а рядом мчалась собака отставного тряпичника. Последовала нежная пауза – и затем, с неким трепетом в груди, я узрел возвращение Синего Седана. Он скользнул под гору и исчез за углом дома. Я различил мельком ее спокойный, бледный профиль. Мне подумалось, что покуда она не поднимется на второй этаж, она не будет знать, уехал ли я или нет. Минуту спустя, с выражением большого страдания на лице, она выглянула на меня из окошка Лолитиной комнатки. Я так скоро взбежал по лестнице, что успел достичь комнатки до того, как она вышла из нее.

Когда невеста – вдовица, а жених – вдовец; когда она прожила в «нашем славном городке» меньше двух лет, он – не больше месяца; когда мосье ждет не дождется, чтобы кончилась глупая канитель, а мадам уступает ему со снисходительной улыбкой; тогда свадьба обыкновенно бывает довольно «скромная». Невеста может обойтись и без тиары апельсиновых цветов, держащей на месте короткую фату, и без белой орхидеи, заложенной в молитвенник. Дочка невесты, пожалуй, внесла бы в церемонию бракосочетания Г. и Г. живой малиновый блик; но я чувствовал, как рискованно было бы с моей стороны оказать припертой к стенке Лолите слишком много ласки, и посему я согласился, что не стоит отрывать девочку от ее любимого «Ку».

Моя так называемая «страстная и одинокая» Шарлотта была в повседневной жизни практичной и общительной. Сверх того, я установил, что, хотя она не могла сдержать ни порывов сердца в повседневной жизни, ни криков на ложе любви, она была женщина с принципами. Как только она стала более или менее моей любовницей (невзирая на возбудительные средства, ее «нервный, нетерпеливый *chéri*» – героический *chéri*, по правде сказать, – не избежал некоторых первоначальных затруднений, за которые, впрочем, он вполне ее вознаградил прихотливейшим ассортиментом старосветских нежностей), милая Шарлотта учинила мне допросец насчет моих отношений с господом богом. Я мог бы ответить, что в этом смысле я был свободен ото всяких предубеждений; вместо этого я сказал – отдавая дань благостному общему месту, – что верю в одухотворенность космоса.

Разглядывая ногти, она спросила еще, нет ли у меня в роду некоей посторонней примеси. Я ответил встречным вопросом – захотела ли бы она все-таки за меня выйти, если бы дед матери моего отца оказался, скажем, арабом. Она сказала, что это не имело бы никакого значения; но что если бы ей когда-нибудь стало известно, что я не верю в нашего христианского бога, она бы покончила с собой. Она объявила это столь торжественно, что у меня прошел мороз по коже. Тогда-то я понял, что она женщина с принципами.

О, она была благовоспитаннейшей мещанкой! Говорила «извините», если случалось легчайшей отрывке перебить ее плавную речь, произносила в английском envelope (конверт) первый слог в нос, на французский манер, и, говоря со знакомой дамой, называла меня «мистер Гумберт». Я подумал, что ей доставит удовольствие, если, входя в местное общество, я приволоку за собой романтическую тень. В день нашей свадьбы появилось маленькое интервью со мной в светской рубрике рамздэльской газеты, с фотографией Шарлотты: одна бровь приподнята, а фамилия с опечаткой: Гейзер. Несмотря на эту беду, реклама согрела фарфоровые створки ее сердца и вызвала издевательское дребезжание моих змеиных гремушек. Тем, что она участвовала в работе церковно-благотворительных кружков, и тем еще, что успела перезнакомиться с наиболее задающимися мамашами Лолитиных товаров, Шарлотта за полтора года изловчилась стать если не перворазрядным, то во всяком случае приемлемым членом местного общества; но никогда еще не доводилось ей попасть в эту восхитительную газетную рубрику, и попала она туда благодаря мне, г-ну Эдгару Г. Гумберту (этого «Эдгара» я подкинул из чистого ухарства), «писателю и исследователю». Репортер, брат моего Мак-Ку, записывая это, спросил, что именно я написал. Ответа

моего не помню, но вышло у него так: «несколько трудов о Верлене, Рэмбодлере и других поэтах». В интервью было также отмечено, что мы с Шарлоттой были знакомы уже несколько лет и что я приходился дальним родственником ее первому мужу. Я намекнул, что у меня был с нею роман тринадцать лет тому назад, но в газете этого не появилось. Шарлотте я сказал, что светскую рубрику блески опечаток только красят.

Будем продолжать сию любопытную повесть. Когда от меня потребовалось пожать плоды моего повышения из жильцов в сожители, испытал ли я лишь горечь и неохоту? Нет. Гумберт не мог не признаться в легком зуде тщеславия, в едва уловимом умилении, даже в некоем узоре изящного раскаяния, шедшем по стали его заговорщического кинжала. Я бы никогда не подумал, что довольно нелепая, хоть и довольно благообразная, г-жа Гейз, с ее слепой верой в мудрость своей религии и своего книжного клуба, ужимками дикции, жестким, холодным, презрительным отношением к обольстительной, голорукой, пушистенькой двенадцатилетней девочке – может обратиться в такое трогательное, беспомощное существо, как только наложу на нее руки – что случилось на пороге Лолитиной комнатки, в которую она отступала, прерывисто бормоча: «нет, нет, пожалуйста, нет...»

Перемена пошла впрок ее внешности. Ее улыбка, бывшая до тех пор столь искусственной, отныне сделалась сиянием совершенного обожания, – сиянием, полным чего-то мягкого и влажного, в котором я с изумлением различал сходство с обаятельным, бессмысленным, потерянным взглядом Лолиты, упивающейся какой-нибудь новой смесью сиропов в молочном баре или безмолвно любующейся моими дорогими, всегда отлично выглаженными вещами. Я, как зачарованный, наблюдал за лицом Шарлотты, когда

она, делясь родительскими тревожностями с другой дамой, делала американскую гримасу женской резигнации (с закатыванием глаз и свисанием одной стороны рта), более детский вариант которой я видел, бывало, на лице у Лолиты. Мы выпивали что-нибудь – виски или джину – перед тем как лечь спать, и это помогало мне воображать дочку, пока я ласкал мать. Вот – белый живот, в котором моя нимфетка лежала свернутой рыбкой в 1934-ом году. Эти тщательно подкрашенные волосы, такие для меня безжизненные на ощупь и обоняние, приобретали иногда (при свете лампы, в двуспальной постели с четырьмя колонками по углам) оттенок, если не мягкость, Лолитиных локонов. Я все повторял себе, меж тем как орудовал моей только что сфабрикованной в натуральный рост женой, что в биологическом смысле она собой представляет максимально доступное мне приближение к Лолите; что в Лолитином возрасте Лотточка была школьницей не менее соблазнительной, чем теперь ее дочка, – и чем будет когда-нибудь дочка самой Лолиты. Я заставил жену извлечь – из-под целой коллекции башмаков (у покойного г-на Гейза была, как оказалось, чуть ли не патологическая страсть к обуви) – тридцатилетний альбом, дабы я мог посмотреть, как выглядела Лотта ребенком; и несмотря на неправильность освещения и неуклюжесть одежд, мне удалось разобрать первый неясный черновик Лолитиногo очерка, ее ног, маслачков, вздернутого носика. Лоттелита! Лолитхен!

Так через изгородь времени я запускал порочный взгляд в чужие мутные оконца. И когда путем жалких, жарких, наивно-похотливых ласок, она, эта женщина с царственными сосцами и тяжелыми лядвиями, подготавливала меня к тому, чтобы я мог наконец выполнить свою еженочную обязанность, то я и тут еще пытался напасть на пахучий след нимфетки, несясь с припадочным лаем сквозь подсед дремучего леса.

Просто не могу вам сказать, как кротка, как трогательна была моя бедная супруга! За утренним кофе, в угнетающем уюте кухни, с ее хромовым блеском, большим календарем (подарком кастрюльной фирмы) и хорошеньким уголком для первого завтрака (отделанным под стильный кафетерий, где Шарлотта и Гумберт будто бы ворковали вдвоем в студенческие дни), она сидела в красном капоте, облокотясь на пластиковую поверхность столика, подперев щеку кулаком и уставившись на меня с невыносимой нежностью во взгляде, пока я поглощал ветчину и яичницу. Хотя лицо Гумберта и подергивалось от невралгии, в ее глазах оно соперничало с солнечным светом и лиственным тенями, зыблущимися на белом холодильнике. Мою мрачность, мое раздражение она принимала за безмолвие любви. Мой небольшой доход в совокупности с ее еще меньшими средствами производил на нее впечатление блистательного состояния, и это не потому, что получавшейся суммы было теперь достаточно для среднебуржуазных нужд, а потому что даже мои деньги сверкали для нее волшебством моей мужественности, так что она представляла себе наш общий текущий счет в виде одного из тех бульваров на юге в полдень, с плотной тенью вдоль одной стороны и гладким солнцем вдоль другой, и этак до самого конца перспективы, где высятся розовые горы.

Пятидесятидневный срок нашего сожительства Шарлотта успела набить многолетней деятельностью. Бедняжка занялась всякими вещами, от которых ей приходилось прежде отказываться или которые никогда особенно ее не интересовали, как будто (чтобы продлить эту серию прустовских интонаций) тем самым, что я женился на матери любимого мною ребенка, я помог жене вернуть себе в изобилии юность по доверенности. С самозабвением пошлейшей «молодой

хозяйки» она принялась «сублимировать домашний очаг». Я наизусть знал каждую щель этого «очага» – знал с тех пор, как, сидя у себя за столом, я наносил на мысленную карту Лолитин маршрут через весь дом; я душой давно породнился с ним – с его неказистостью и неубранностью, и теперь прямо чувствовал, как несчастный ежится в ужасном предвкушении ванны из экры и охры и табачно-рыжей замазки, которую Шарлотта готовила ему. Она, слава богу, до этого не дошла, но зато потратила огромное количество энергии, моя шторы, наващивая жалюзи, приобретая новые шторы и новые жалюзи, возвращая их магазину, замещая их другими и так далее, в постоянной смене света и мрака, улыбки и хмурости, сомнения и сожаления. Она возилась с кретоном и коленкором; она меняла масть дивана – священного того дивана, на котором в незабвенное утро во мне лопнул, замедленным темпом, пузырек райского блаженства. Она распределяла мебель и была довольна узнать из трактата о домашнем хозяйстве, что «вполне дозволено разъединить пару диванных комодиков и к ним относящиеся лампы». Следуя за авторшей книги «Твой Дом – это Ты», она возненавидела худосочные маленькие стулья и тонконогие столики. Она верила, что комната с широким размахом оконного стекла и обилием роскошных лакированных плоскостей представляла собой пример комнаты мужского типа, меж тем как женский тип определялся более легкими оконницами и более хрупкой деревянной отделкой. Романы, за чтением которых я застал ее при моем въезде, теперь были вытеснены иллюстрированными каталогами и руководствами по устройству дома. Фирме, находившейся в Филадельфии, Бульвар Рузвельта, дом 4640-ой, она заказала для нашей двуспальной постели особенный, «штофом обитый пружинистый матрац, модель 312-я», – хотя старый

казался мне достаточно упругим и выносливым для всего того, что ему приходилось выдерживать.

Происхождением она была со Среднего Запада, как и ее первый муж, и, перенесясь в жеманный Рамздэль, жемчужину одного из восточных штатов, прожила там слишком недолго, чтобы по-настоящему подружиться со всеми приличными людьми. Она слегка знала жовиального дантиста, жившего в чем-то вроде полуразвалившегося деревянного замка позади нашего сада. Она познакомилась на чае в прицерковном клубе со спесивой супругой отставного старьевщика, которому принадлежал страшный белый домик в так называемом «колониальном» стиле на углу проспекта. Время от времени она «наносила визиты» старушке Визави; но матроны познатнее, из тех, которых она навещала или встречала на «садовых» приемах, или занимала длинными разговорами по телефону – изысканные дамы, как г-жа Шеридан, г-жа Мак-Кристал, г-жа Найт и прочие, – как-то редко заходили к моей пренебрегаемой светом Шарлотте. Единственно, с кем у нее сложились истинно дружеские отношения, лишенные и задних мыслей, и практических умыслов, это с четой по фамилии Фарло, которая вернулась из делового путешествия в Чили как раз вовремя, чтобы присутствовать на нашей свадьбе – вместе с Чатфильдами, четой Мак-Ку и некоторыми другими (но не с г-жой Старьевщицей или с еще более высокомерной г-жой Тальбот). Джон Фарло был пожилой, спокойный, спокойно-атлетический, спокойно-удачливый торговец спортивными товарами, с конторой в Паркингтоне, в сорока милях от нас; это он снабдил меня амуницией для пресловутого Кольта и научил им пользоваться (как-то во время воскресной прогулки в приозерном бору); он также был «отчасти адвокатом» (как сам говорил с улыбкой) и в свое время привел в порядок некоторые Шарлоттины дела. Джоана, его

моложавая жена, приходившаяся ему двоюродной сестрой, была долгоногая дама, в очках с раскосой оправой; у нее были два палевых бульдога, две острых грудки и большой красный рот. Она писала пейзажи и портреты – живо помню, как за рюмкой коктейля мне случилось похвалить сделанный ею портрет маленькой племянницы, Розалины Грац, грациозной, розовой красотики в герл-скаутской форме (берет из зеленой шерсти, зеленый вязаный поясок, прелестные кудри до плеч), и Джон вынул изо рта трубку и сказал, как жаль, что Долли (моя Доллита) и Розалина так неприязненно относятся друг к дружке в школе; впрочем, он выразил надежду, и мы все поддакнули, что они лучше сойдутся, когда вернутся, каждая из своего летнего лагеря. Мы поговорили о школе. У нее были свои недостатки и свои достоинства. «Конечно, среди наших торговцев многовато итальянцев, – сказал рассудительный Джон, – но зато мы до сих пор были избавлены от жи —». Джоана стремительно перебила его: «Как было бы хорошо, если бы наши девочки проводили это лето вместе!» Внезапно я вообразил Лолиту по возвращении из лагеря – посмуглевшую, теплую, сонную, одурманенную – и готов был зарыдать от страсти и нетерпения.

Хочу написать еще несколько слов о г-же Гумберт, покуда пишется (скоро предстоит тяжкая катастрофа). Я всегда отдавал себе отчет в том, что в ее характере есть некоторая доля властности, но я никак не думал, что она может оказаться столь дико ревнивой ко всему, что в моей жизни не относилось к ней. У нее разыгралось ярое, ненасытное любопытство к моему прошлому. Она требовала, чтобы я воскресил всех женщин, которых в жизни любил, дабы заставить меня высмеять их, растоптать их и отречься от них, отступнически и до конца, тем самым уничтожив мое прошлое. Она вынудила у меня отчет о моем браке с Валерией, которая, конечно, была чрезвычайно смешна; но сверх того мне пришлось выдумать или бессовестно разукрасить длинный ряд любовниц, чтобы Шарлотта могла злорадно на них любоваться. В угоду ей мне пришлось ей представить целый иллюстрированный каталог, снабдив этих дам тонкими отличиями, согласно традиции американских объявлений, которые, используя для своих целей группу школьников, распределяют их по правилам изощренной расовой пропорции, а именно всегда помещают среди белолицых ребят одного – и только одного – но зато совершенного душку – круглоглазого, шоколадного цвета малыша, почти, но не совсем по самой середине первого ряда парт. Представляя ей моих дам, я заставлял их улыбаться и покачиваться, и все они – томная блондинка, темпераментная негритянка, рыжеволосая развратница – были выстроены, как на параде в веселом доме. Чем очевиднее и вульгарнее они у меня получались, тем больше нравился г-же Гумберт мой водевиль.

Никогда в жизни я не делал и не выслушивал такого множества признаний. Искренность и безыскусственность, с которыми она обсуждала то, что называла своей «любовной жизнью», начиная с первых затяжных поцелуев и кончая супружеской вольной борьбой, представляли в моральном смысле резкий контраст моему беспардонному вранью; но в техническом смысле, обе серии были однородны, ибо на обе влиял тот же материал (радиомелодрамы, психоанализ, дешевые романчики), из которого я извлекал своих действующих лиц, а она – свой язык и стиль. Меня немало позабавили некоторые необыкновенные половые причуды, свойственные почтенному Гарольду Гейзу, по словам Шарлотты, которая сочла гогот мой неприличным; вообще же говоря, ее раскрытие души оказалось столь же мало интересно, как было бы вскрытие ее тела. Никогда не видал я более здоровой женщины – несмотря на диетические голодовки.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

notes

Примечания

Русский перевод приводится по машинописному тексту отложившихся в нью-йоркском архиве Набокова нескольких страниц из несостоявшейся русской версии книги интервью и статей «Strong Opinions» («Стойкие убеждения»), названной «Кредо». *(Здесь и далее – прим. ред.)*

2

Эхнатон.